ВИЛЛИ БРАНДТ

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР

ВАЛЕРИ Д'ЭСТЕН

БРЕЖНЕВ

УЙТИ ВОВРЕМЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Авторы этой книги – крупнейшие мировые политики XX века: Вили Брандт был федеральным канцлером ФРГ в 1969–1974 годах; Генри Киссинджер являлся советником по национальной безопасности США в 1969–1975 годах и Государственным секретарем США с 1973 по 1977 год; Валерии Жискар д'Эстен занимал пост президента Франции в 1974–1981 годах.

Все они поддерживали отношения с СССР в период правления Л.И. Брежнева, неоднократно встречались с советским лидером. В своих воспоминаниях они много пишут о его политике и дипломатии, показывают личность Брежнева под разным углом зрения. Каждый из них по-своему оценивает сильные и слабые стороны Леонида Брежнева как руководителя государства и человека, – при этом воспоминания В. Брандта, Г. Киссинджера и Ж. д'Эстена отражают эволюцию Брежнева и его политики на протяжении почти двадцати лет пребывания у власти.

Перевод: М. Левин, Н. Дубинин, Владимир Львов

- Вили Брандт
- ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ (Из книги В.В. Гришина «Катастрофа. От Хрущева до Горбачева»)
-
-
-
-
-
-
-
-
- В. Брандт ЭРА БРЕЖНЕВА (Из книги В. Брандта «Воспоминания»)
- БЕРЛИНСКАЯ СТЕНАЙ ОТСТАВКА ХРУЩЕВА
-
-
-
-
- ВСТРЕЧИ С БРЕЖНЕВЫМ
-
-
-
-
-

- КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕ В ВАРШАВЕ
- «ПРАЖСКАЯ ВЕСНА»
- ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ
- ДЕ ГОЛЛЬ: «ВОСТОК – ЧАСТЬ ЕВРОПЫ»
- ВОПРОС О РАКЕТАХ. БРЕЖНЕВ И АНДРОПОВ
- ВТОРАЯ СМЕРТЬ СТАЛИНА
- Г. Киссинджер КРАХ «ДОКТРИНЫ БРЕЖНЕВА» (Из книги Г. Киссинджера «Дипломатия»)
- «КИТАЙСКАЯ КАРТА» ПРОТИВ БРЕЖНЕВА
- БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА ДЛЯ ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ

- УМЕНЬШЕНИЕ СОВЕТСКОГО ВЛИЯНИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
- ВОПРОС О ЕВРЕЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ СССР
- СОВЕЩАНИЕ В ХЕЛЬСИНКИ. ВОПРОС О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
- «ДОКТРИНА РЕЙГАНА» ПРОТИВ «ДОКТРИНЫ БРЕЖНЕВА». ГОРБАЧЕВ
- Валери Жискар д\'Эстен УГАСАНИЕ БРЕЖНЕВА (Из книги Валери Жискара дЭстена «Власть и жизнь»)
- «Я – МАЛЫЙ КРЕПКИЙ!»
- ТАЙНА ПРЕЕМНИКА БРЕЖНЕВА

- Приложение БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ Л.И. БРЕЖНЕВА (Из книги Е.И. Чазова «Как уходили вожди»)

Вили Брандт
Брежнев. Уйти вовремя

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ (Из книги В.В. Гришина «Катастрофа. От Хрущева до Горбачева»)

Я довольно хорошо знал Леонида Ильича Брежнева. Был, в общем, с ним в неплохих отношениях. Вместе с другими членами Политбюро бывал у него на квартире на Кутузовском проспекте и на даче. Раза два отдыхали в одно время на соседних дачах в Крыму. Как председателя ВЦСПС, а позже секретаря МГК КПСС он включал меня в состав многих партийных делегаций на съезды братских компартий социалистических стран, партийно-правительственных делегаций и делегаций Верховного Совета, которые сам возглавлял.

В первую половину своего почти двадцатилетнего пребывания на посту руководителя партии и страны Л.И. Брежнев много сделал для развития экономики и культуры СССР, укрепления ее положения в мире. С целью обеспечения пропорционального развития, кооперирования и специализации производства, ускорения научно-технического прогресса при нем были упразднены совнархозы, восстановлены министерства и комитеты по отраслям народного хозяйства.

По его инициативе и под руководством Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина была разработана и начала осуществляться экономическая реформа, предусматривающая реконструкцию и техническое переоснащение предприятий, развитие наукоемких и перспективных направлений в экономике. Большое развитие получили электронная, атомная, приборостроительная промышленность, станкостроение, энергетические отрасли, а также производство товаров для населения. На предприятиях и стройках внедрялись хозрасчет, бригадный подряд, экономические методы работы.

Было построено много новых заводов и фабрик, оснащенных современным оборудованием, – автозаводы в Тольятти и Набережных Челнах, крупные комплексы химической промышленности, в том числе по производству искусственного волокна, научные и производственные центры по электронике, производству телевизоров, мощные гидро-, тепло– и атомные электростанции, новые промыслы по добыче нефти и газа, Байкало-Амурская магистраль, – всего не перечислить.

На первом же пленуме ЦК после октября 1964 года были рассмотрены проблемы сельского хозяйства. Был изменен

порядок заготовок и закупок у колхозов и совхозов зерна, продуктов животноводства. Вместо ежегодно доводимых заданий установлен порядок, при котором колхозы и совхозы получали пятилетний неизменяемый план продажи государству сельскохозяйственной продукции.

Сверхплановую продукцию было разрешено реализовывать по усмотрению хозяйств. Колхозники и рабочие совхозов наделялись приусадебными и земельными участками, огородами. Снят запрет (наоборот поощрялось) на личное подворье, на то, чтобы иметь в личном хозяйстве сельскохозяйственных животных и птицу. По инициативе Л.И.Брежнева были разработаны и начали осуществляться широкая программа подъема сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР, продовольственная программа, другие важные мероприятия.

* * *

Немалый вклад внес Л.И.Брежнев в укрепление мира и разрядку международной напряженности. Встречался с руководителями, главами государств и правительств многих стран.

Он был человеком приветливым, общительным, располагающим к себе людей. Вспоминаю, как бывший президент США Д. Картер после встречи с Леонидом Ильичом и переговоров в Вене в интервью журналистам заявил: «Здесь, в Вене, в лице Л.И.Брежнева я приобрел себе друга». Вспоминаю также, с каким восторгом встречал Париж, вся Франция Леонида Ильича во время его визита в эту страну по приглашению президента.

Во времена Л.И.Брежнева был ослаблен пресс «холодной войны», развивалось сотрудничество всех стран, осуществлены меры по ослаблению международной напряженности, улучшились отношения с главной страной капитализма – Соединенными Штатами Америки, были достигнуты важные соглашения о нераспространении ядерного оружия, согласован договор по ОСВ-2, противоракетной обороне и другие. Проведено важное Хельсинкское совещание и начался так называемый «Хельсинкский процесс», улучшение международных отношений.

В международных делах, впрочем, как и в делах внутренних, Леонид Ильич Брежнев проявлял инициативу, гибкость, умел пойти на разумный компромисс, а когда была необходимость, он поступал решительно и смело.

* * *

В ЦК КПСС, в Политбюро, у Л.И. Брежнева сложились неодинаковые отношения с членами руководящих органов. Они были неровными в разные периоды работы. Так, вскоре у него обострились отношения с А.Н. Косыгиным, который пользовался уважением среди товарищей по работе, популярностью в народе. Как-то, в мае 1965 года, после заседания Президиума ЦК, мы должны были поехать на стадион им. Ленина в Лужниках, где проходил праздник Дружбы народов. В Москву из Одессы прибыла на мотоциклах эстафета мира, ее участники должны были вручить руководителям страны письмо. А.Н.Косыгин полагал, что это письмо должен принять он, как председатель правительства, но здесь Шелепин и некоторые другие высказались за то, чтобы письмо принимал Л.И. Брежнев. Зашел спор, в ходе которого А.Н. Косыгин сказал примерно следующее: всегда найдутся подхалимы и угодники, которые стремятся угодить начальству, но Леонид Ильич не должен поддаваться подхалимажу. На это Л.И.Брежнев очень рассердился. Я стоял в стороне, ко мне подошел А.Н. Шелепин и предложил вместе выступить против А.Н. Косыгина. Я ответил, что не надо горячиться, что товарищи сами разберутся между собой.

Так мы поехали на стадион. Он был полностью заполнен москвичами. Через громкоговоритель было объявлено о прибытии эстафеты мира из Одессы и привезенном ее участниками послании мира руководителям страны. Несколько делегатов из Одессы через ряды зрителей стали подниматься к правительственной трибуне. Но кто будет принимать письмо? Возникло неловкое положение. Тогда Л.И.Брежнев сказал: «Пусть письмо примет Гришин как председатель ВЦСПС». Пришлось принимать письмо мне и экспромтом говорить речь с благодарностью участникам эстафеты и тем, от кого было написано письмо ЦК и правительству. Этот случай испортил всем членам и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС настроение.

Мы все постоянно чувствовали натянутость отношений между Л.И. Брежневым и А.Н. Косыгиным. Наши отношения с Алексеем Николаевичем и его семьей были дружескими. Это стало известно Л.И. Брежневу, и его отношение ко мне к середине 70-х годов изменилось. Он стал относиться ко мне с недоверием, подозрительно и даже с предвзятостью. Однажды в Большом Кремлевском дворце проходило то ли какое-то собрание, то ли сессия Верховного Совета. Когда я подъехал к подъезду Дворца, неподалеку прохаживались Л.И.Брежнев и А.А. Громыко. Я подошел к ним, поздоровался, и мы стали ходить втроем. Л.И.Брежнев вдруг сказал мне: «Ты, Виктор, придерживайся моей линии, а не линии Косыгина». Я был удивлен. Ответил ему, что у

нас общая линия, это линия партии, ее программа и устав, решения съездов и пленумов ЦК. Этой линии мы все и придерживаемся. А.А. Громыко молчал.

В конце 70-х годов на одном из заседаний Политбюро ЦК КПСС, думаю, что по подсказке или в угоду Леониду Ильичу, с резкой критикой А.Н.Косыгина выступил председатель Госплана СССР Н.К.Байбаков. Он сказал, что Председатель Совмина не читает его – председателя Госплана – записок, не читает документы, идущие в Совет министров, не вникает глубоко в работу и т. п. А.Н. Косыгин возражал, говорил, что все поступающие к нему документы внимательно рассматриваются. Получилось все довольно некрасиво. Мы, некоторые члены Политбюро ЦК, вынуждены были вмешаться, чтобы прекратить эту неподходящую для работы Политбюро ЦК перебранку.

Вскоре А.Н.Косыгин заболел. У него случился инфаркт миокарда. Л.И.Брежнев решил отправить его на пенсию. Он позвонил мне по телефону (наверное, как и другим членам Политбюро) и стал уговаривать освободить А.Н. Косыгина от обязанностей Председателя Совета Министров СССР и выдвинуть на это место Н.А. Тихонова, работавшего заместителем Председателя Совмина. Я высказал соображение, что может быть А.Н.Косыгин еще сможет поработать, приносить пользу стране. Л.И. Брежнев, сославшись на мнение начальника четвертого главного управления Минздрава СССР Е.И.Чазова, сказал, что А.Н.Косыгин работать уже не сможет. Да и вообще Н.А. Тихонов будет работать хорошо, он лучше Косыгина составит государственный план. Но это, конечно, была совершенно неравноценная замена.

А.Н.Косыгин недолго пробыл на пенсии и вскоре умер. Было решено похоронить его на Красной площади, урну с прахом умершего установить в Кремлевской стене. Л.И. Брежнев сказал, что на похороны он не пойдет, но после наших уговоров принял участие в траурной церемонии.

* * *

Л.И.Брежнев был человеком общительным, умел расположить к себе людей. У него было много друзей, с ними он был хорош. Но решительно освобождался от тех, к кому питал недоверие. Были работники, к которым относился просто терпимо. Его самыми близкими друзьями в Политбюро были Щербицкий, Андропов, Громыко, Устинов, Кунаев. Ревностно он относился к А.Н. Косыгину и Н.В. Подгорному. Ко мне вначале отношение

было неплохим, но примерно с середины 70-х годов, под влиянием некоторых работников секретариата и иных «доброхотов» отношение изменилось.

Он принимал крутые меры, освобождался от тех, кто вел закулисные разговоры о недостатках его работы, отрицательно высказывался о нем и т. п. Так, во второй половине 60-х годов Брежневу было доложено (по-видимому, Ю.В.Андроповым), что группа бывших комсомольских работников собирается, ведет разговоры о возможной замене руководства партии. В группу входили А.Н.Шелепин, В.Е.Семичастный, Н.Г. Егорычев, В.С.Толстиков, А.П.Волков и кто-то еще. С подачи В.В. Щербицкого в опалу попал П.Е. Шелест. Он был переведен на работу зам. председателя Совмина СССР, освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПУ. Все эти товарищи были сняты с занимаемых постов. Одни переведены на другую работу, другие отправлены на пенсию. На пленуме ЦК КПСС тт. Шелепин, Воронов, Шелест тайным голосованием были выведены из членов ЦК КПСС.

В мае 1977 года на Пленуме ЦК, после обсуждения основного вопроса, как бы между прочим председательствующий М.А. Суслов предложил освободить от обязанностей члена Политбюро ЦК и Председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорного. В поддержку этого предложения сразу выступили два-три человека. М.А.Суслов не дал слово Н.В. Подгорному, хотя тот пытался что-то сказать («Ты посиди, подожди», – сказал ему Суслов), быстро поставил вопрос на голосование, и Н.В. Подгорный был освобожден от занимаемых постов. Пленум закрылся. В комнате президиума сразу после окончания пленума растерянный Н.В. Подгорный сказал: «Как все произошло неожиданно, я работал честно» – и, расстроенный, ушел. Этому делу предшествовали высказывания А.П. Кириленко, М.А. Суслова и некоторых других: зачем нам нужно иметь двух Генеральных секретарей? Вскоре на сессии Верховного Совета СССР вместо Н.В. Подгорного Председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран Л.И. Брежнев.

* * *

До смещения Н.С.Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС в октябре 1964 года Л.И. Брежнев и Н.В. Подгорный были очень дружны. Именно Н.В. Подгорный был вдохновителем, а Л.И. Брежнев и другие – исполнителями освобождения Н.С.Хрущева от занимаемых постов. На заседании Президиума

ЦК, когда надо было решать, кому быть первым секретарем ЦК, Л.И.Брежнев предложил кандидатуру Н.В. Подгорного. Но тот сказал: «Нет, Леня, берись ты за эту работу». Так Л.И. Брежнев стал первым секретарем ЦК партии, а затем Н.В. Подгорный занял пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Первое время в их отношениях было все хорошо. Но потом у Л.И.Брежнева стало проявляться недовольство тем, что Н.В. Подгорный старается вести себя во всем на равных с Брежневым. Кроме того, он стал выражать недовольство проявлением мании величия Л.И. Брежнева, осуждая восхваления и славословия в его адрес. Однажды мне пришлось присутствовать на юбилее одного из секретарей ЦК КПСС. У него в гостях были Брежнев с женой, Подгорный, Кириленко, я и некоторые другие члены Политбюро и секретари ЦК. Присутствующие поздравляли хозяев с юбилеем. Но больше слов говорилось в адрес Генерального секретаря ЦК. Когда юбиляр произносил свой тост, то он в основном говорил о Брежневе, о его заслугах перед партией и страной. Возмущенный происходящим, Подгорный, обращаясь к Леониду Ильичу, сказал: «Леня, как ты можешь терпеть такие славословия в свой адрес? Почему ты не прекратишь это восхваление? Это не годится не только для руководителя, но и для простого коммуниста. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я готов за тебя подставить свою грудь под пули, но я не могу видеть, как ты, по существу, поощряешь возвеличивание себя».

Говорил он это громко, возбужденно. Брежнев стал ему возражать, говоря что, мол, ничего предосудительного здесь сказано не было, что товарищи хотят и могут высказывать свои мысли, свои оценки деятельности любого из нас, что ты, Николай Викторович, всегда сгущаешь краски, всегда чем-то недоволен и т. п. В общем, произошла серьезная размолвка между Брежневым и Подгорным. Настроение у всех было испорчено, и вскоре мы разъехались по домам.

Были и другие случаи, когда Подгорный высказывал осуждение Брежнева за его манию величия, поощрение хвалебных в свой адрес выступлений и славословий. В узком кругу он прямо осуждал Брежнева за приверженность к культу личности, за его любовь к лести и подобострастию. Подгорный не стремился и, я убежден, не желал занять место Генерального секретаря ЦК. Его возмущало благосклонное отношение Брежнева к подхалимажу и возвеличиванию своей персоны. В свою очередь Брежнев не скрывал неудовлетворенность Подгорным за его критические высказывания в свой адрес.

Все это, а также желание быть первым лицом не только в партии, но и в государстве, послужило причиной отставки

Подгорного в 1977 году и занятия Брежневым, наряду с должностью Генерального секретаря ЦК, поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

* * *

Во второй половине 70-х годов состояние здоровья Брежнева резко ухудшилось. Речь его стала невнятной, – как говорил сам Леонид Ильич, что-то не получается с протезированием зубов (в период Великой Отечественной войны Леонид Ильич получил ранение челюсти), и, несмотря на все усилия наших врачей, а также специалистов из Германии, проблемы с речью у Леонида Ильича оставались до последних дней его жизни. Вследствие этого доклады и выступления произносились нечетко, шепеляво, хуже воспринимались слушателями, вызывали насмешки и разговоры у людей. У нас, его товарищей по Политбюро, это вызывало сочувствие и сожаление.

В 1974 или 1975 году он месяца три не работал, находился в загородной больнице, перенес какое-то заболевание. Официально об этом ничего не говорилось. Даже большинство членов Политбюро ЦК не были поставлены в известность, что же с ним было. Бывший в то время начальником четвертого главного управления Минздрава СССР Е.И. Чазов сказал: «Проведено лечение последствий военных лет». Возможно, это был инфаркт или какая-то серьезная операция.

Появились склеротические явления, нетвердость походки, быстрая утомляемость. Резко снизилась работоспособность. Постепенно дело подошло к тому, что без написанного текста он не мог выступать не только в больших аудиториях, но даже на заседаниях Политбюро ЦК. Хотя они проходили регулярно (каждый четверг), продолжительность резко сократилась, они стали длиться час, максимум полтора часа. По вопросам повестки дня Леонид Ильич зачитывал подготовленные его секретариатом записки и проекты решений, которые должны быть приняты.

На встречах с различными иностранными делегациями, руководителями государств и партий он зачитывал подготовленный ему материал без каких-либо комментариев. Некоторые зарубежные деятели говорили, что «переговоров не было, Брежнев лишь зачитывал подготовленные ему справки». Они оставались неудовлетворенными встречами с советским руководителем. Справки и выступления за Брежнева готовили помощники из его секретариата. Они и как бы определяли направление деятельности Генерального секретаря ЦК, а

следовательно, определяли политику ЦК и правительства.

В Президиуме Верховного Совета СССР Л.И.Брежнев почти всю работу переложил на первого заместителя Председателя Президиума В.В.Кузнецова, для этого и была создана такая должность, раньше ее не было. Л.И.Брежнев очень прислушивался к мнению своих близких. За время работы он перевел в Москву и расставил на руководящие посты много знакомых, сослуживцев по прежней работе. В Москву перебралось множество днепропетровцев.

* * *

В Политбюро со второй половины 70-х годов сложилась группа товарищей, которые подготавливали предложения, вопросы, касающиеся как внутренних, так и внешнеполитических проблем. Эта группа состояла из наиболее приближенных Л.И. Брежневу людей, которым он полностью доверял и полагался на их предложения и рекомендации. В нее входили в разное время Ю.В.Андропов, К.У. Черненко, А.А. Громыко, Д.Ф.Устинов, Н.А.Тихонов. Они часто собирались (вне рамок Политбюро ЦК), обсуждали наиболее важные проблемы внутренней и международной жизни, политики, решений партии и правительства, докладывали свои предложения Л.И. Брежневу и по согласованию с ним вносили вопросы в Политбюро ЦК. Иногда какие-то вопросы решались ими в оперативном порядке. Их предложения, как правило, проходили в Политбюро, ибо они их дружно отстаивали, пользовались своими близкими отношениями с Генеральным секретарем ЦК КПСС, да и просто в силу занимаемых должностей.

Создание, работа этой группы видных деятелей, видимо, была необходимой и полезной. Это восполняло недоработки Генерального секретаря ЦК, вызванные его физической слабостью и нездоровьем. Но, вместе с тем, в известной (причем значительной) мере они подменяли Политбюро ЦК, находились на каком-то особом положении в Политбюро, принимали важные решения, минуя коллегиальный руководящий орган партии. В группе рассматривались вопросы обороны, оборонной промышленности, внешнеполитические шаги Советского государства, некоторые кадровые вопросы. Она располагала такими сведениями и информацией, о которых другие члены Политбюро ничего не знали. Некоторые не оправдавшие себя шаги и решения лежат на совести этой группы.

Неудачным было ближайшее окружение Л.И.Брежнева – его

помощники, референты, консультанты. Во многом влияли на выработку внутренней и внешней политики такие люди в аппарате ЦК или внештатные консультанты, как Арбатов, Иноземцев, Бовин, Черняев, Шахназаров, Загладин и другие. Отношения строились на принципах угодничества и беспрекословного подчинения патрону. Материалы и предложения готовились только угодные Генеральному секретарю. Докладывалось то, что было ему приятно.

* * *

Непомерно было стремление к возвеличиванию и прославлению Леонида Ильича. Его секретариат (и прежде всего помощник В. Голиков) занимался написанием книг, которые потом шли за подписью Генерального секретаря ЦК (за что ему была даже присуждена Ленинская премия), писались биографические книги, издавались шикарные фотоальбомы о Леониде Ильиче. Составители этих книг или альбомов не забывали и о своих выгодах. Ряд из них получили Ленинские, Государственные премии, награждены правительственными наградами.

Все это плохо воспринималось в партии и народе, порождало различные слухи, пересуды и анекдоты. Падал авторитет Генерального секретаря ЦК. Этому способствовали и личные слабости Леонида Ильича Брежнева. Он очень любил получать награды и всяческие почести. Никак не украшали его четыре звезды Героя Советского Союза, многие ордена, полученные в мирное время, главным образом, по случаю дней рождения и других дат. Были люди, которые старались угодить первому руководителю страны, вносили предложения приятные ему, но вредящие его авторитету. Так, за подписью многих видных военачальников – министра обороны СССР А.А. Гречко, всех его заместителей, членов коллегии министерства, почти всех маршалов Советского Союза в Политбюро ЦК КПСС поступило письмо о присвоении Л.И.Брежневу звания Маршала Советского Союза (поскольку он является Председателем Совета обороны страны). Что нам было делать? Коллегия Минобороны в полном составе пришла на заседание Политбюро при рассмотрении этого вопроса. Решение было принято, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР. Появился новый Маршал Советского Союза.

Примерно таким же порядком решался вопрос о награждении Л.И. Брежнева орденом Победы (кажется, это было решение к его

70-летию). Он очень гордился своими наградами. Пять золотых звезд, три медали лауреата различных премий носил постоянно. Был и такой случай, когда на открытии мемориала Победы в Великой Отечественной войне в Киеве он приехал не только в звездах, но и украшенный многими орденами, в том числе и орденом «Победа». Также в орденах и медалях прибыли украинские руководители. Я ездил на эти торжества в поезде Леонида Ильича. Когда он меня увидел в обычной одежде, без наград он сказал: «Жаль, что не предупредили тебя о нашем решении надеть на праздник правительственные награды»…

Л.И. Брежнев, особенно в последние годы работы, в силу своего характера и благодаря старанию окружения и многих подобострастных людей, как-то уверился в своей непогрешимости, умении предвидеть события, своей особой одаренности, даже величии и вседозволенности. Это ему очень вредило, подрывало авторитет, вызывало неудовольствие людей. Вообще плохо сказывалось на работе партии и общем положении в стране.

* * *

К началу 80-х годов стали нарастать трудности в хозяйстве нашей страны. Замедлились темпы роста промышленного производства, сократились капитальные вложения в жилищное и бытовое строительство, замедлилось повышение жизненного уровня населения. Во многих городах и районах страны стали отмечаться перебои в снабжении мясом, маслом и другими продуктами. Не хватало предметов широкого потребления (одежды и обуви). Это, естественно, вызывало недовольство людей.

В то же время была ослаблена трудовая и производственная дисциплина, увеличились воровство, хищения социалистической собственности и взяточничество. Борьба с этими явлениями велась, но слабо. Недостаточно работали правоохранительные органы. Иногда их работники сами оказывались участниками коррупции. На местах – в республиках, областях, городах и районах борьба с негативными явлениями тоже велась недостаточно…

По слухам, Л.И. Брежнев хотел на ближайшем пленуме ЦК рекомендовать Генеральным секретарем ЦК КПСС Щербицкого, а самому перейти на должность Председателя ЦК партии. Осуществить это Л.И. Брежнев не успел. Недели за две до намечавшегося пленума ЦК он скоропостижно скончался.

Генеральным секретарем ЦК КПСС и Председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран Ю.В.Андропов.

В. Брандт ЭРА БРЕЖНЕВА (Из книги В. Брандта «Воспоминания»)

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНАЙ ОТСТАВКА ХРУЩЕВА

13 августа 1961 года, когда меня разбудили между 4 и 5 часами утра, специальный поезд для предвыборного турне только что прибыл из Нюрнберга в Ганновер. Железнодорожный служащий передал мне спешное сообщение из Берлина. Отправитель: Генрих Альбертц – начальник канцелярии сената. Содержание: Восток перекрывает секторную границу. Мне надлежит немедленно вернуться в Берлин.

На аэродроме Темпельхоф меня встретили Альбертц и полицай-президент Штумм. Мы поехали на Потсдамскую площадь и к Бранденбургским воротам. Везде одна и та же картина: строители, заграждения, бетонные столбы, колючая проволока, военнослужащие ГДР. В Шенебергской ратуше из поступивших сообщений мне стало ясно, что вокруг города приведены в боевую готовность советские войска, а Вальтер Ульбрихт уже передал свои поздравления подразделениям, строящим стену.

В Далеме, в здании союзной комендатуры, это было мое первое и последнее ее посещение, меня поразила фотография генерала Котикова, бывшего советского коменданта города. Очевидно, его западные коллеги решили, по крайней мере, таким образом отдать дань четырехстороннему статусу Берлина. Однако советская сторона «растоптала» его, передав в этот день свои права распоряжаться в советском секторе властям ГДР, решившим расколоть город.

Какой будет реакция западных держав? Смирятся ли они с тем, что им определят места перехода границы? Через несколько дней остался только один проход через КПП (контрольно-пропускной пункт) «Чек-пойнт Чарли» на Фридрих-штрассе. И ничего не случилось. Почти ничего. Во всяком случае, ничего такого, что могло бы служить интересам многочисленных разделенных немецких семей.

Если бы в эти утренние воскресные часы 13 августа я был более хладнокровен, то заметил бы, что высокоуважаемые господа коменданты были ошеломлены и выглядели беспомощными, не получив никаких указаний свыше. Американец с озабоченным видом намекнул, что из Вашингтона ему дали понять: ни в коем случае нельзя допускать непродуманных действий и тем более чинить препятствия – ведь никакой непосредственной опасности для Западного Берлина не существует.

Президент Соединенных Штатов находился в это время на борту своей яхты. Лишь позже я узнал, что он был своевременно обо всем проинформирован. Его интересовало лишь, не нарушены ли права союзников, а вовсе не то, что права всего Берлина оказались на помойке истории.

Действительно, из воспоминаний его сотрудников очевидно, что президента Кеннеди беспокоила мысль о возможных военных последствиях. Уже в начале кризиса он заметил: «Я могу привести в движение НАТО, если он – Хрущев– что-нибудь предпримет против Западного Берлина, но не шевельну и пальцем, если он что-то затеет с Восточным». 13 августа в Белом доме еще исходили из того, что поток беженцев через Берлин следует лишь сдерживать, но не перекрывать.

Глубочайшее заблуждение! И все-таки это было больше, чем услышанное от официального Бонна. В день начала сооружения стены мне позвонил министр иностранных дел Генрих фон Брентано и сообщил: «Отныне нам необходимо тесное сотрудничество». И все… Федеральный канцлер хранил молчание. Один американский наблюдатель впоследствии записал в своем дневнике: «В Бонне царил двойной страх: там, с одной стороны, боялись, что американцы проявят чрезмерную пассивность, а с другой – что они поведут себя агрессивно!»

Но я сам не знал, какие действенные меры предложить в ответ. Я лишь сказал, не скрывая от комендантов своего волнения: «Протестуйте же, по крайней мере, против этого не только в Москве, но и в других столицах стран Варшавского Договора!»

Непосредственно перед этим Центральный Комитет СЕПГ сообщил, что ограждение Восточного Берлина проводится в соответствии с решением правительств государств – участников Варшавского Договора. Я предложил немедленно послать на секторную границу хотя бы патрули, чтобы как-то подавить чувство неуверенности и показать западноберлинцам, что им ничто не угрожает!

Прошло двадцать часов, прежде чем на внутригородской границе появились первые военные патрули. Прошло сорок часов, прежде чем был направлен протест советскому коменданту. Прошло семьдесят два часа, прежде чем в Москве был получен протест. Звучал же он весьма обыденно.

Между тем в городе лились слезы. В моем избирательном округе Веддинге люди прыгали из окон прилежащих к границе домов в растянутые спасательные полотна, и далеко не для всех это заканчивалось благополучно.

* * *

16 августа я написал президенту Кеннеди о всей серьезности сложившейся ситуации и о глубоком кризисе доверия. Ведь, если дело дойдет до провозглашения Западного Берлина вольным городом со всеми вытекающими для него негативными последствиями, возникнет опасность бегства населения. Я предложил усилить американский гарнизон, подчеркнуть ответственность трех держав за судьбу Западного Берлина, указать на то, что германский вопрос не следует считать решенным и что он должен стать темой для обсуждения в Организации Объединенных Наций. Я с горечью писал о том, что переговоры с Советским Союзом были отклонены, потому что нельзя было их вести «под давлением». А теперь, продолжал я, когда мы подвергаемся самому откровенному шантажу, я уже слышу, что переговоров не избежать. В подобной ситуации особенно важно проявить хотя бы политическую инициативу, если уж возможность других активных действий сейчас ничтожно мала. После того как мы смирились с незаконным шагом Советского Союза, а именно таковым мы его и считаем, с учетом многочисленных трагедий, которые разыгрываются сегодня в Восточном Берлине и во всей советской зоне Германии, нам всем не избежать принятия самых решительных действий на собственный страх и риск.

Кеннеди приказал перебросить в город дополнительные воинские подразделения и прислал мне свой ответе курьером.

Им был Линдон Джонсон, который 19 августа прибыл в город и с чисто техасской беспечностью пытался мне доказать, что положение не столь уж серьезно, как всем кажется. В своем письме президент откровенно признал: «О военном конфликте не может быть и речи, а большинство предложенных мероприятий – это пустяки по сравнению с тем, что уже произошло». Не это ли послание подняло занавес и показало, что сцена пуста?

Через несколько дней после первой годовщины возведения стены, 17 августа 1962 года, от потери крови умер Петер Фехтер, 18-летний рабочий-строитель. Это случилось по ту сторону КПП «Чек-пойнт Чарли». Мы не могли, мы не имели права помочь ему. Его смерть вызвала широкий резонанс и всеобщее возмущение. Прошли гневные траурные демонстрации. Кое-кто из молодых предлагал взрывами пробить брешь в стене. Другие копали под ней туннели и помогали благодарным им за это согражданам до тех пор, пока некоторые безответственные лица не стали зарабатывать на этом деньги. Одна бульварная газета обвинила меня в предательстве за то, что я подключил полицию для охраны

стены.

Однажды вечером меня вызвали в ратушу. Намечалась, судя по всему, студенческая демонстрация протеста. Я обратился к собравшимся через громкоговоритель, установленный на полицейской машине: «Стена тверже, чем лбы, которыми вы пытаетесь ее пробить, – сказал я, – бомбами ее не уничтожить».

Сразу после возведения стены стали разыгрываться ужасные сцены. Сцены бессильной ярости, голос которой вырывался наружу, но которую приходилось сдерживать в себе. Существует ли для оратора более трудная задача? После кризиса в августе 1962 года я побывал на многих предприятиях и в учреждениях. Я пытался объяснить берлинцам, что можно сделать, а что – нет. Что же было возможно? И что было невозможно? Этот вопрос преследовал меня в течение всех последующих лет. После возведения стены речи и соответствующие формулировки еще какое-то время оставались почти прежними. Но то, что все вокруг стало не таким, как раньше, понимал каждый. Начался поиск путей, хоть как-то облегчающих тяготы разъединения. Раз уж нам суждено было длительное время сосуществовать со стеной, то надо было как-то сделать ее проницаемой. Как прийти к «модус вивенди» в отношениях между обеими частями Германии? Какие усилия предпринять, чтобы превратить центр Европы в зону прочного мира?

Осенью 1957 года я стал правящим бургомистром Берлина. Десять лет отвечал за судьбы людей в осажденном городе. В Берлине я стоял на стороне тех, кто сопротивлялся насильственному распространению коммунистической идеологии и мертвой хватке сталинизма.

Это была чистейшая самооборона, мой долг по отношению к людям, которые много пережили и хотели начать все сначала. В то же время это была и забота о сохранении столь непрочного мира. Позже это стало еще очевидней: мы поступили правильно, когда в 1948 году не дрогнули перед блокадой, в 1958-м – перед ультиматумом Хрущева, а в 1961-м – перед выросшей стеной. Речь шла о праве на самоопределение. Речь шла также о том, чтобы добровольной капитуляцией не вызвать цепную реакцию, которая могла бы вылиться в новый военный конфликт.

Берлинский опыт научил меня: бессмысленно пытаться пробить лбом стену, если только эта стена не из бумаги, но вместе с тем никогда не следует мириться с произвольно воздвигаемыми преградами. Не каждому это принесет пользу поначалу, но жизнь многих зависит от того, насколько упорно мы будем бороться за торжество разума и взаимопонимание. Права человека не падают с неба, гражданские свободы – тоже…

* * *

Еще 10 ноября 1958 года советский партийный лидер и глава правительства Хрущев предъявил во Дворце спорта в Москве ультиматум: в течение шести месяцев Западный Берлин должен быть превращен в «вольный город», оккупационный статус ликвидирован, а права Советского Союза переданы ГДР. Он заявил, что в случае противодействия будет заключен сепаратный мирный договор с ГДР, и более или менее завуалированно пригрозил применением силы по отношению к городу и коммуникациям, на пользование которыми западные державы имели исконные права (в июне 1949 года все четыре державы согласились восстановить порядок, существовавший до блокады, и улучшить транспортное сообщение с Берлином). Теперь меня все время занимал вопрос, как увязать одно с другим. Не так уж трудно было понять, что формулы о «свободном доступе», изрядно истрепавшейся за месяцы ультиматума, недостаточно. Может, я был и не прав? Поначалу потребовались большие усилия, чтобы отклонить ультиматум и преодолеть кризис вне Берлина в большей степени, чем в нем самом.

Откуда у Хрущева взялась убежденность в том, что берлинцы в массовом порядке побегут из города и он, как гнилой плод, упадет в руки ГДР, я так никогда и не узнал. Но, так или иначе, он заявил через Хальварда Ланге, долгие годы бывшего министром иностранных дел Норвегии, о моей дружбе с которым он, очевидно, знал, что вопрос о Западном Берлине отпадет сам по себе; население сбежит, а экономика развалится. Через несколько лет один высокопоставленный советский работник счел нужным меня предупредить: берлинская проблема решится сама собой – это всего лишь вопрос времени. Впрочем, это никогда не мешало Кремлю использовать бывшую столицу рейха в качестве рычага для защиты своих интересов в других частях света.

Провозглашенный Хрущевым «вольный город» я определил как лишенный правовой защиты и высказался за решительный отпор. Я был уверен, что берлинцы согласны со мной. В критических ситуациях я шел на предприятия и во время бесед по реакции на мои слова убеждался, в чем меня поддерживают, а в чем нет. В Бонне, где звучали весьма воинственные нотки, не было единого мнения. Заведующий восточным отделом МИДа Георг-Фердинанд Дуквитц посетил меня в берлинском представительстве и попытался уговорить: «Соглашайтесь с предложением о создании вольного города! Распространите его на весь Берлин. Ничего лучшего Вы не дождетесь». Между тем

«Дуки» был одним из самых доброжелательных и всегда давал дельные советы. Во время войны он использовал свою должность эксперта по судоходству при имперском уполномоченном в Копенгагене и получаемую в этой связи информацию для того, чтобы помочь многим датским евреям бежать в Швецию.

Его своевольный совет не соответствовал официальной точке зрения. Правительство не хотело ничего знать об инициативах относительно всего Берлина. По крайней мере, до той конференции западных министров иностранных дел, которая состоялась в начале драматического августа 1961 года в Париже. В Бонне вообще скептически относились к инициативам. Вследствие чего я, например, на свой страх и риск, не подключая правительство или союзников, установил связь с президентом Федерального банка. Карл Блессинг должен был, по крайней мере, растолковать мне, как могла бы выглядеть формально самостоятельная, но привязанная к западногерманской марке берлинская валюта.

Ультиматум, который Кремль 27 ноября «выдал» в форме ноты, истекал через шесть месяцев. 1 мая 1959 года, незадолго до истечения этого срока, на площади Республики собрались – по данным полиции – около 600 тысяч человек. От их имени я и обратился к гражданам всего мира: «Посмотрите на народ Берлина, и вы поймете, чего хотят немцы!» Право на самоопределение должен иметь и наш народ. Грубое вмешательство в наши внутренние дела нетерпимо. В то время как в других частях света ликвидируется колониальное господство, нельзя допускать, чтобы в центре Европы пустил корни новый колониализм.

* * *

27 мая истекал срок ультиматума. Это был самый обычный день. Не произошло ничего – абсолютно ничего, что могло бы значительно облегчить положение. Сомнения, связанные с намеченной конференцией министров иностранных дел, оказались вполне обоснованными. Я был разъярен, узнав, что западные державы без всякой необходимости согласились на сепаратное обсуждение берлинского вопроса и не выступили бескомпромиссно против стремления Советского Союза отделить Берлин от Федеративной Республики. Перед этим Бонн внушил западным министрам иностранных дел, что речь идет не о ГДР, а лишь «о так называемой ГДР» – глава Форин Оффис Селвин Ллойд превратил это в шутку и назвал министра иностранных

дел ГДР, который так же, как Генрих фон Брентано, сидел за отдельным столом, не иначе как «так называемый мистер Больц». Федеральное правительство в жизненно важном вопросе связей Берлина с ФРГ и впрямь вело себя не слишком настойчиво. Так, например, председатель бундестага подвергся в Бонне, а не в других столицах западных государств, как это предполагалось, соответствующей обработке, с тем чтобы не назначать выборы нового федерального президента в Берлине. Аргументировалось это тем, что нельзя бросать вызов русским.

Хрущев отменил берлинский ультиматум во время визита в Соединенные Штаты в 1959 году после встречи с президентом Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде. Однако тот, кто после этого рассчитывал на спокойствие и улучшение обстановки в Берлине, был большим мечтателем. Ибо после отмены ультиматума изменилась, возможно, форма, но не содержание советской политики. Тон оставался таким же резким, каким он был всегда. Многие были убеждены, что новая атака на Берлин – это лишь вопрос времени и подходящего случая. Однажды в мае 1960 года в представительство Берлина в Бонне явился министр обороны Штраус и изложил мне с глазу на глаз военную обстановку. Его вывод: «Берлин невозможно защитить». Мне следует понять, что Берлин становится для западной политики в целом и для Федеративной Республики в особенности несносным бременем. Нам надо совместно добиться «в какой-то мере приемлемого выравнивания фронтовой линии». Для того чтобы правильно понять стратегию Штрауса, которой я никогда, даже намеком, не воспользовался, нужно было знать следующее: американская сторона поставила перед ним вопрос о возможности использования бундесвера при реальном осложнении обстановки. До его сведения было доведено, что в случае развязывания боевых действий за пути доступа к Берлину не исключена возможность применения тактического атомного оружия. Порой бывает так, что тех, кто громче всех кричит, легче всего запугать.

В те суровые дни – в сообщениях прессы они выглядели еще суровее, чем в действительности, – я совершенно неожиданно получил воодушевившую меня поддержку. Женщина-врач, жившая в Берлине, привезла мне из Ламбарена зуб слона. Сопроводительная записка Альберта Швейцера гласила: «Я знаю, что бургомистр Берлина должен уметь показывать зубы».

* * *

Берлинский кризис, раздутый Хрущевым в 1958 году,

кончился 13 августа 1961 года изоляцией «собственной» части города. Кремль понял, что по крайней мере в ближайшее время западную часть города ему не получить. Где бы я ни был, в том числе и во время предпринятого мной еще в начале 1959 года по заданию федерального правительства кругосветного путешествия, я всюду разъяснял, что берлинский кризис является не причиной, а следствием глобальных политических противоречий. Решающим выводом тех лет явилось понимание того, что Берлин лишь тогда сможет вздохнуть свободно, когда «холодная война» отступит на второй план, и с другой стороны – из Берлина нельзя перевернуть весь мир. От нас по-прежнему требовалась воля к самоутверждению, ведь стену в то время еще только собирались построить. В 1959 году я записал слова, ставшие девизом соглашения по Берлину 1971 года: «Берлин не аванс, а пробный камень разрядки».

Могло ли что-то измениться в проблеме берлинского кризиса, как и в проблеме воссоединения Германии, если бы состоялся серьезный и откровенный разговор между Конрадом Аденауэром и Никитой Хрущевым? Этот вопрос я должен, соблюдая соответствующую дистанцию, задать и самому себе. Ибо советский руководитель предложил в 1959-м и в 1963 году принять меня в Восточном Берлине, так же как он в 1962 году изъявил желание встретиться с Аденауэром.

Когда наметился визит Хрущева в Бонн, Аденауэр как раз ушел в отставку. Зять кремлевского руководителя Алексей Аджубей, в то время главный редактор газеты «Известия», в 1964 году приехал в Бонн. Я встречался с ним наедине и в окружении консервативно настроенных редакторов, пригласивших его. Казалось, ничто не препятствует визиту Хрущева в Бонн. Эрхард был готов с удовольствием его принять. Однако в октябре время правления кряжистого Никиты Сергеевича истекло.

Намерение нанести визит в Западную Германию было одним из звеньев в цепи событий, приведших к его свержению. Ошибки во внутренней и внешней политике, включая бряцание ядерным оружием во время кубинского кризиса, составили другие звенья. Последний толчок, очевидно, дали жалобы руководства ГДР на Аджубея и его сентенции по поводу воссоединения Германии.

ВСТРЕЧИ С БРЕЖНЕВЫМ

Как и многие не столь видные русские, Леонид Брежнев был склонен переоценивать немцев. С одной стороны, это, возможно, было связано с Марксом и Энгельсом, без которых Ленин в какой-то мере остался бы без имени. С другой стороны, – и это было важнее: ведь эти проклятые «фрицы» почти что взяли Москву, хотя они одновременно дрались с англичанами и американцами. Докуда же они дошли бы в следующий раз, если бы у них было американское оружие? А то, что они создали после 1945 года, – это тоже не мелочь!..

Нет сомнения в том, что руководство и народ были рядом, когда речь шла о преодолении тяжелого наследия Второй мировой войны. Брежнев сказал, что поворот к лучшему – не простое, нелегкое дело. Между нашими государствами и нашими народами стоит тяжелое прошлое. Двадцать миллионов человек потерял советский народ в развязанной Гитлером войне. Это прошлое не вычеркнуть из памяти людей. Многим миллионам немцев также пришлось сложить голову в этой войне. Память об этом жива. Может л и советский народ быть уверенным в том, что внешняя политика создаст новые основы взаимоотношений?

Он сказал это во второй половине дня 12 августа 1970 года. В Екатерининском зале Кремля он стоял позади меня, когда я вместе с Алексеем Косыгиным и обоими министрами иностранных дел подписывал Московский договор. Первоначально мое присутствие вообще не предусматривалось. Министр иностранных дел Шеель по инициативе советских партнеров по переговорам позвонил в Норвегию, где я проводил отпуск, и дал понять, что мне нужно приехать. Какая тяжелая дата! Какой весомый договор! Я и так не мог и не хотел уклоняться от бремени, которым этот договор должен стать для многих немцев. Нельзя было объявить несостоятельными итоги гитлеровской войны, но смягчить ее последствия было необходимо как с патриотической точки зрения, так и с точки зрения европейской ответственности. Своим землякам я сказал из Москвы, что договор не угрожает ничему и никому; он должен помочь расчистить путь вперед.

На следующий день – 13 августа – я должен был произнести речь по случаю годовщины возведения берлинской стены, однако мои любезные хозяева нашли отговорку, что с технической точки зрения будет трудно передать запись моего выступления в Бонн. В полной уверенности, что меня подслушивают, я громко и отчетливо разговаривал в здании посольства, дав им таким

образом понять, что, если понадобится, я затребую из Бонна самолет, который доставит пленку с записью моей речи домой. Реакция последовала немедленно. Когда мы направлялись к Кремлевской стене для возложения венка, один высокопоставленный чиновник шепнул мне: «С передачей все будет в порядке». Мне выделили какого-то сутулого министра, который не спускал с меня глаз.

* * *

Первое впечатление, которое произвел на меня во второй половине августовского дня в своем мрачноватом кремлевском кабинете Брежнев, было утомительным. Да и как могло быть иначе, если тебе в течение почти двух часов зачитывают какой-то текст? За первым чтением после моих реплик последовало второе, а отреагировать на «второе выступление» у меня почти не осталось времени, хотя в нашем распоряжении имелось четыре часа. Перед тем как пригласить меня для беседы, Генеральный секретарь неожиданно для нашей стороны явился на церемонию подписания договора. Он пришел также на коктейль, но извинился, что не сможет быть на ужине, так как недавно выписался из больницы.

Пока его не начинало явно мучить ухудшившееся здоровье, коренастый Брежнев казался – если ему не нужно было читать по бумажке – здравствующим и даже непоседливым человеком. Ему доставляло огромное удовольствие слушать и рассказывать анекдоты. Он проявлял любопытство к руководителям других стран. «Вы ведь знакомы с Никсоном. Он действительно хочет мира?» Или в июне 1981 года по пути на аэродром он спросил: «Как мне расценивать Миттерана?» Однажды в Бонне появился человек, который должен был расспросить меня о Джиме Картере. Найти подход к Картеру «московитянам» было еще труднее, чем впоследствии понять Рональда Рейгана.

В репертуаре Брежнева имелись маленькие дешевые трюки: под конец нашей первой беседы в Кремле он вдруг сказал: «Надеюсь, вам известно, что в руководстве вашей партии у вас есть не только друзья». Однако, как ему написали на бумажке, на «Икса» (имелся в виду премьер-министр одной из земель, фамилию которого он не смог правильно произнести), добавил он, я могу положиться. Гибрид партаппарата с секретной службой подчас приносит странные плоды.

Но что меня во время той первой беседы буквально удручало, это его нежелание приводить хотя бы до некоторой степени

серьезные аргументы, и его демонстративные ссылки на Сталина…

Во-первых, Брежнев действительно считал, что я могу поверить официальной, партийно-правительственной версии, согласно которой в Советском Союзе, как ни в какой другой стране мира, 99,99 процента людей устремляются к избирательным урнам, чтобы почти поголовно проголосовать за «кандидатов блока коммунистов и беспартийных». Даже более тонкий Косыгин, которому я сказал, что чувствую поддержку явного большинства моих сограждан, без всякого смущения ответил, что в Советском Союзе 99 процентов за договор. Тут же он стал иронизировать по поводу социал-демократов, о которых, например, в Скандинавии, никогда нельзя точно знать, входят ли они еще в правительство или уже снова в оппозиции.

Во-вторых, Брежнев с самого начала хотел мне разъяснить, что он не согласен с антисталинскими тезисами Хрущева. Сталин очень много сделал, говорил он, и, в конце концов, под его руководством страна выиграла войну – ему еще воздадут должное. Нет, Леонид Ильич не выдавал себя за реформатора. Но я не смог разглядеть в нем и революционера. Скорее это был консервативно настроенный управляющий огромной державы. Однако я не сомневался, что он был заинтересован в сохранении мира. Не сомневаюсь в этом и сейчас.

То, что Брежнев с большим удовольствием полностью отменил бы обсуждение страдавшего манией уничтожения людей Сталина, явилось одним из отрезвляющих впечатлений, полученных мною в Кремле. Между тем первого человека Советского Союза, каковым с 1964 по 1982 год был Брежнев, превратили в какое-то почти безликое существо. Наряду с кумовством и другими слабостями характера его обвиняют в тяжких политических грехах. Именно поэтому я счел нужным объяснить Михаилу Горбачеву, почему я не желаю в том, что касается серьезности наших совместных усилий, дезавуировать Брежнева. Такие американцы, как Генри Киссинджер, в своих оценках сотрудничества с русскими в прошлом пришли к такому же выводу. В личных беседах Брежнев не казался мне несимпатичным, хотя его избирательное восприятие действительности и связанная, очевидно, не только с этим, зависимость от шпаргалок производили немного неприятное впечатление. Но я не имел возможности выбирать себе визави или ждать Горбачева. Я и в 1970 году уже не думал, что меня примет гигант мысли или величина в смысле морали.

* * *

Официально в 1970 году я был гостем не Брежнева, а Косыгина, который как Председатель Совета Министров в тогдашней иерархии имел такой же ранг, как и Генеральный секретарь партии. Год спустя это изменилось, поскольку Генеральный секретарь стал и в вопросах внешней политики номером один. Сделав министра иностранных дел Андрея Громыко членом Политбюро, он крепче привязал его к себе…

Больше говорить в Москве о договоре не имело смысла. Косыгин, этот образованный ленинградский инженер с выражением легкого разочарования на лице, который много, но не очень успешно работал, говорил о «политическом акте, которому советское руководство и весь мир придают большое значение». Я возразил, что текст, конечно, важен, но гораздо важнее то, что из него получится. Косыгин намек понял. Утром после подписания и неизбежного официального обеда он сказал: «Лучше меньше шума, а больше успехов». Я заверил, что для меня содержимое бутылки важнее, чем ее этикетка. Он дал свой вариант темы, имея в виду намечавшуюся конференцию по безопасности в Европе: «Продолжительность заседания еще не признак того, что на нем достигнут прогресс». Впрочем, война больше не является средством политики, а центральная проблема разрядки в Европе заключается в отношениях между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии.

В своей речи на обеде Косыгин говорил о «памятном дне» в отношениях между нашими странами. Договор «продиктован самой жизнью», он отвечает долговременным интересам мира. В ответном слове я сказал: «Мне известно, что я нахожусь в стране, у которой особое понимание истории, – истории, которую никто не может отменить и никто не вправе отрицать. Так же верно и то, что ни один народ не может постоянно жить без чувства гордости: „История не должна превратиться в хомут, который будет постоянно удерживать нас в прошлом“. В некотором отношении я рассматриваю этот договор как заключительную черту и как новое начало, позволяющее обоим нашим государствам направить свои взоры вперед, в лучшее будущее. Этот договор должен освободить как вас, так и нас оттени и груза прошлого и как вам, так и нам дать шанс начать все сначала». (К имевшим принципиальное значение итогам переговоров о заключении договора относилось то, что в области отношений между Советским Союзом и Федеративной Республикой исчезла ссылка на статью Устава ООН о враждебных государствах.)

* * *

Путь к заключению договора, если считать исходным пунктом формирование нового федерального правительства, был короток. Предварительные переговоры в Москве я поручил вести моему испытанному сотруднику Эгону Бару, ставшему статс-секретарем в ведомстве канцлера. Из-за этого посол почувствовал себя ущемленным. В остальном также существовали как доброжелатели, так и завистники, которые точно знали, каким образом все можно было сделать гораздо лучше, не попадая в цейтнот, как это якобы случилось с нами. В действительности шла борьба за каждую статью договора, оттачивалась каждая формулировка. Громыко, которого я посетил незадолго до его отставки с поста президента (он занял его в начале эры Горбачева), даже восемнадцать лет спустя мог точно вспомнить каждый из тех 55 часов, которые у него в феврале, марте и мае 1970 года заняли беседы с Баром. В своих мемуарах Андрей Громыко воздвиг мне небольшой памятник и подчеркнул большую роль, которую я «лично» сыграл при разработке договора.

В Бонне результаты переговоров Бара получили одобрение, а ведение заключительных переговоров взял на себя министр иностранных дел. Они привели к некоторым изменениям, которые должны были дополнительно защитить договор и относящиеся к нему документы как от вечно сомневающихся, так и от серьезных критиков.

В Москве, в нескольких километрах от аэродрома, на котором я приземлился 11 августа 1970 года с опозданием, так как перед вылетом неизвестный сообщил, что в самолете спрятана бомба (поэтому после приземления я сказал: «Мы прилетели поздно, но все же прилетели»), стоит памятник, обозначающий место, где в 1941 году немецкие танки вынуждены были повернуть назад. Однако травма от смертельной угрозы имела более глубокие корни. По пути с аэродрома в резиденцию Косыгин остановил машину на Ленинских горах и подвел меня к тому месту, с которого Наполеон бросил последний взгляд на горящую Москву. Это был еще один эпизод разбуженной истории.

С чем я был не согласен с Брежневым, так это с его воспоминаниями о дне нападения на Советский Союз в июне 1941 года. Ведь между русскими и немцами, говорил он, существовали договор и хорошие экономические отношения. Он сам видел, как к западной границе шел нагруженный пшеницей товарный поезд, когда «люфтваффе» начала бомбежку. Как секретарь Днепропетровского обкома партии он в первый же день войны получил задание остановить поезда, направлявшиеся в Германию.

Об этом он хотел напомнить только для того, чтобы показать,

какие положительные чувства испытывал советский народ и как доверчиво было руководство. Газеты были полны фотографий о сотрудничестве с немцами. Он также сослался на хорошее сотрудничество с немецкими фирмами в далекие времена и в период между мировыми войнами. Немало его коллег обучались на таких фирмах, как Крупп и Маннесманн. И вдруг такое вероломство, которое просто трудно было ожидать от порядочного партнера!

Затем последовали фронтовые воспоминания с мелодраматическими призывами к «товарищам с той стороны». Такой способ пробуждения сентиментальных чувств не столько удивил меня, сколько испугал. Когда люди обмениваются воспоминаниями о войне, фальшь и правда находятся всегда рядом. Весной 1973 года во время ужина, который я дал в честь Брежнева в его боннской резиденции на Венусберге, Гельмут Шмидт обрисовал двойственные чувства молодого офицера на Восточном фронте. Тогда он не мог себе представить, что после этой ужасной войны появится хоть какой-то шанс на то, что первый по статусу человек Советского Союза будет разговаривать с немцами. Брежнев ответил очень эмоциональным тостом. У принимавших меня русских точно также накатывались слезы, когда я во время застольной речи зачитал выдержку из письма, которое один не вернувшийся с фронта немецкий солдат после нападения на Советский Союз написал своим родителям.

* * *

Весной 1973 года Брежнев подхватил формулу Никсона о том, что эра конфронтации должна перерасти в эру переговоров. Я мог исходить из этого так же, как и из того, что Генеральный секретарь в июне того же года в одной из своих речей сказал о коммунистах и социал-демократах: не затушевывая ничего принципиального, конкретно рассматривать то, что можно сделать для мира и в интересах народов.

Когда дело касалось военных элементов политики мира, Брежнев всегда выражался довольно неопределенно. Во время нашей первой беседы он, видимо вполне серьезно, заявил буквально следующее: ограничение вооружений не является «кардинальной темой». Советский Союз и он лично выступают за полное разоружение. Он даже намеком не откликнулся на сигнал из Рейкьявика, то есть на разработанные нами в рамках НАТО представления, включавшие в себя пропорциональное сокращение войск.

В 1971 году в Крыму я тщетно пытался убедить его в необходимости серьезных переговоров о взаимном сокращении войск и вооружений. Причем об уравновешенном сокращении, что означало: глобальное равновесие не должно быть поставлено под вопрос. Однако Брежнев меня не понял, впрочем, так же, как и в 1973 году в Бонне. В Москве ему наверняка никто не говорил о проблеме военного неравновесия в Европе. А также о том, что нужно различать две сферы, по которым впоследствии велись переговоры частично в Хельсинки, а частично во время их продолжения в Вене: с одной стороны, сотрудничество и укрепление доверия, а с другой – сокращение войск.

Я и позднее никогда не замечал, чтобы Брежнев, если речь заходила о конкретных вещах, мог бы потребовать от военного руководства каких-то новых идей. Особенно ясно это проявилось в вопросе о ракетном оружии. Но даже когда я однажды завел разговор о форсировании морских вооружений, меня удивила его радостная реакция: американцы нас намного опередили, «но теперь не так уже намного. Мы теперь каждую неделю „лепим“ по одной подводной лодке». При этом он делал движения руками так, как это бывает у детей при «игре в куличики». Характерным для эры Брежнева являлось то, что, несмотря на политическую разрядку, СССР продолжал усиленно вооружаться и постоянно «модернизироваться». Разумеется, НАТО в те годы тоже не становился слабее, а соответствующая американская служба вынуждена была признать, что ее оценка роста оборонного бюджета СССР наполовину преувеличена.

В своем прагматизме в военных делах Брежнев и Хрущев недалеко ушли друг от друга. Последний заявил во время кубинского кризиса: «В Советском Союзе ракеты изготовляются, как сосиски в сосисочном автомате». На приеме по случаю нового, 1960 года он после обильного потребления водки сообщил «по секрету» западным послам: для Франции и Англии готово по 50 ракет, а для Федеративной Республики – 30 пронумерованных экземпляров. Но когда жена французского посла спросила, сколько ракет предназначено для США, жизнерадостный Никита ответил, что это военная тайна.

* * *

В приписываемых Хрущеву воспоминаниях изложена полемика с теми военными руководителями, которые «в речах и мемуарах пытаются обелить Сталина и вновь поставить „отца народов“ на пьедестал». Брежнев, как уже сказано, рассматривал

это под другим углом зрения, но общим для них обоих являлась ужасающая идеологическая узость мышления. Кстати, после нескольких лет гласности высший генералитет заявил протест против того, что на него пытаются переложить ответственность за то, в чем он не виноват: не военное, а политическое руководство на Рождество 1979 года выступило за вторжение в Афганистан. Во времена правления Горбачева наконец-то стало возможным, чтобы люди, отвечающие за внешнюю и за военную политику, подвергли критике курс, который в семидесятые и в начале восьмидесятых годов односторонне ориентировался на военное равновесие сил и пропагандистские успехи…

К вопросу о связях Федеративной Республики с Западом Брежнев подходил с реалистических позиций. Никто не собирается, говорил он, отделять нас от союзников, так же как и нет планов, чтобы наши будущие отношения с Советским Союзом развивались за счет отношений с другими странами. Брежнев заявлял это столь радостным тоном, что это могло бы внушить недоверие, если бы я и так его не испытывал: «У нас не было и нет никаких коварных замыслов, и я думаю, что это является важным фактором». Косыгин также подчеркивал, что никто не собирается посредством договора изолировать нас от наших западных союзников: «У нас нет подобных намерений, да они тоже были бы нереалистичны». Против этого нельзя было возразить.

Если абстрагироваться от некоторых мелочей, в Москве в августе 1970 года речь шла о переходе к новому отрезку европейской послевоенной истории. В то же время мне представилась возможность поставить стрелки на путь к урегулированию некоторых практических вопросов. Это в первую очередь относилось к Берлину. Я сообщил, что мы лишь тогда ратифицируем Московский договор, когда четыре державы завершат свои переговоры по Берлину с положительным результатом. Если мы хотим разрядки, Берлин не должен оставаться очагом «холодной войны». Он не должен больше оставаться яблоком раздора, а ему следует придать определенные функции в рамках мирного сотрудничества. Брежнева эта взаимообусловленность раздражала. Не означает ли моя позиция, что США будет предоставлено право вето? Действительно, многое осталось открытым, но возможность использовать берлинский вопрос в качестве рычага для создания помех была ограничена, хотя, к сожалению, и не устранена. Уже в конце октября 1970 года Громыко во время встречи с Шеелем дал с некоторыми оговорками понять, что с нашей берлинской взаимообусловленностью жить можно. Они встретились в Таунусе

накануне выборов в ландтаг земли Гессен.

С другой стороны, мы имели в виду проблему прав человека, которую мы, дабы придать ей более безобидный характер, обозначили как «гуманитарные вопросы». Речь шла о репатриации из Советского Союза людей, являвшихся к началу войны германскими гражданами, а также о конкретных случаях воссоединения семей. Косыгин сказал, что об этом и впредь должны заботиться оба общества Красного Креста, хотя до сих пор они добились весьма скромных успехов. Я смог оказать им кое-какую помощь, в том числе и после того как отошел от правительственных дел. После 1970 года многие лица немецкого происхождения смогли переселиться в ФРГ, а в конце концов даже вновь наметилось улучшение условий жизни и культурного развития для советских граждан немецкой национальности.

Не хвалясь, я все же должен сказать, что за эти годы я в целом ряде случаев принимал участие в судьбе так называемых диссидентов. Результаты моих ходатайств были скромными; в нескольких случаях представители интеллигенции уехали за границу, хотя они с большей охотой остались бы на родине, в других – им были созданы лучшие условия жизни в самой стране.

В-третьих, речь, конечно, шла и об экономических интересах. Я прежде всего хотел выяснить у русских, не собираются ли они в дополнение ко всем тяжелым последствиям войны потребовать от нас еще и выплаты репараций? Для ответа Брежневу нужно было время. На следующий год в Крыму он мне коротко сообщил: этот вопрос в Советском Союзе не стоит. Толковые комментаторы могли бы проследить в этом единственную в какой-то мере существенную параллель с Рапалло.

Брежнев и Косыгин говорили о «больших и даже огромных перспективах» в области экономики, науки и техники; прежде всего нам расхваливали сотрудничество в области добычи полезных ископаемых Сибири. Это всегда было и остается постоянной темой германо-советских переговоров. Я перелистал старые подшивки и установил, что еще в 1922 году Карл Радек, большевистский эксперт по Германии польского происхождения, погибший в одном из сталинских лагерей, сказал заведующему восточным отделом германского министерства иностранных дел: «Германия может извлечь выгоду из использования русских сырьевых запасов. Немецкая работа найдет теперь в России поддержку».

В последующие годы строительство воздушных замков продолжалось. Косыгин не был склонен к преувеличениям: «Ни мы, ни вы не являемся благотворительными организациями, сотрудничество должно приносить пользу обеим сторонам». Ему

тоже было известно, что заинтересованные в сотрудничестве немецкие фирмы откровенно жалуются на неповоротливость и частую пробуксовку советских органов управления народным хозяйством. Тем не менее торговля с Советским Союзом после этого по сравнению с исходным уровнем развивалась вполне успешно.

* * *

Для возглавляемого мной правительства Московский договор имел принципиальное и жизненно важное значение. Не только для нас в Бонне, но и с точки зрения европейской политики представлялось очень важным, что из заявлений мировой державы, так же как и из политзанятий в Советских Вооруженных Силах, исчез призрак германской угрозы, а тем самым из «межкоммунистической колоды» была изъята антигерманская карта.

В середине сентября 1970 года я заявил в бундестаге: «Федеральное правительство убеждено, что настало время заново обосновать и в пределах возможного нормализовать наши отношения с Советским Союзом и с Восточной Европой. Заключая данный договор, федеральное правительство придерживалось того, что оно отразило в своем правительственном заявлении». Этим договором мы никому ничего не дарим. Он исходит из существующего реального положения вещей. Им устанавливается неприкосновенность границ и мирное урегулирование всех имеющихся вопросов. «Главное в этом договоре то, что он служит миру и обращен в будущее. Он создает предпосылки для лучшего сотрудничества с Советским Союзом и с нашими прямыми восточными соседями. Он не отделяет нас от наших союзников по НАТО и не мешает прогрессирующему единению Западной Европы. Он должен пойти на пользу Берлину. И, в конце концов, он оставляет свободным путь к достижению в Европе такого состояния мира, при котором и германские вопросы могут найти справедливое и прочное решение на основе права на самоопределение».

На следующий, 1971 год во время летних каникул я получил запрос: не хотел бы я в середине сентября посетить в течение нескольких дней Брежнева в Крыму – без «протокола» и без «делегации». Советский руководитель отнесся к отказу от протокола настолько серьезно, что, когда я 16 сентября во второй половине дня приземлился в Симферополе, он стоял на летном поле в полном одиночестве. Я прилетел на самолете военно-

воздушных сил ФРГ. Это также было новшеством. Об экипаже позаботились самым наилучшим образом, что отнюдь не было само собой разумеющимся.

В здании аэропорта был устроен прием. Он очень затянулся. Казалось, что наш запас анекдотов никогда не иссякнет. В соответствии с этим и атмосфера была непринужденной. Если по программе предусматривалось испытать меня в буквальном смысле слова на выносливость, то этот экзамен я выдержал.

Теперь Брежнев совершенно однозначно был первым лицом и находился в лучшей форме, чем за год до этого, когда мне довелось его увидеть в Москве, а затем в 1973 году в Бонне. Как у чванливого, так и у официального Бонна, действующие лица которого дополняли друг друга и были тесно переплетены между собой, возникло ощущение, что им брошен серьезный вызов: может быть, происходящее в Крыму не имеет ничего общего с правительственными делами, а является «всего лишь» встречей руководителей партии? «Не секретная ли это встреча?» – вопрошал Франц Йозеф Штраус. Титул советского Генерального секретаря и его ранг по протоколу причиняли и в дальнейшем немало хлопот. Хотя в Париже его принимали со всеми почестями, полагающимися главе государства, ответственные за прием высоких гостей боннские бюрократы были против того, чтобы при его встрече производился обязательный в таких случаях артиллерийский салют. А у меня не было никакого желания с ними связываться.

Что же собой представляла Ореанда, где в распоряжении советского руководителя имелась летняя резиденция, в которой он принимал гостей из дальних и ближних стран? Не находилась ли она поблизости от той Ялты (а может быть, даже была ее предместьем?), где в начале 1945 года Сталин вместе с Рузвельтом и Черчиллем принял решения, воспринятые так, будто там раз и навсегда был утвержден раскол Европы, что соответствует не столь уж необычному историческому ракурсу? Впрочем, что касается мест, связанных с тяжкими событиями, то куда бы мы могли податься в Германии после 1945 года, если бы хотели, чтобы другие – да и мы сами – избежали крайне неприятных воспоминаний?

Поднимались и другие, второстепенные вопросы. Почему для Ореанды не было предусмотрено «официальное» сопровождение прессы? То, что многочисленные журналисты и фотокорреспонденты без всяких затруднений попали на место событий, почти не смягчило критику. Затем фотографы запечатлели меня не только во время лодочной прогулки по Черному морю в спортивном костюме – без галстука, но и тот

момент, когда я вместе с Брежневым вхожу в воду, чтобы поплавать. Не было ли это в высшей степени безответственным?

А была ли у меня там возможность воспользоваться советами компетентных людей из министерства иностранных дел? Ну кроме Эгона Бара, статс-секретаря ведомства канцлера, меня сопровождал сведущий сотрудник министерства иностранных дел, впоследствии дважды работавший послом в Москве. Само собой разумеется, что при мне находился переводчик. Он делал соответствующие записи.

* * *

По возвращении я сообщил представителям оппозиции, хотя это был всего лишь второстепенный момент, о следующем: Брежнев спросил меня о коммунистах в ФРГ, и я подтвердил, что они действуют легально. Это вызвало огромное возбуждение. Советский руководитель проявил любознательность по поводу того, каким образом действует «партия господина Бахмана». Он имел в виду ГКП, которая возникла в 1968 году по формальному совету министра юстиции Хайнеманна. Федеральный конституционный суд в 1956 году по представлению федерального правительства запретил старую ГКП.

Казалось, что Брежнев хочет уйти от надоевшей ему темы. А ведь за год до этого во время моего визита в Москву нам настойчиво приводили такие аргументы: «У вас свободно развиваются силы реваншизма, – говорил Косыгин, – в то время как коммунистов загоняют в подполье». В Ореанде я лишь подтвердил, что ГКП действует активно и легально. По отношению ко мне она ведет себя далеко не дружелюбно, но другого я и не жду и всегда возражаю тем, кто добивается нового ее запрета. Из этого сделали вывод, будто бы я выразил свою благосклонность по отношению к коммунистической партии. Герхард Шредер, мой предшественник на посту министра иностранных дел, летом 1988 года заявил, что ему якобы известно, что во время той сомнительной лодочной прогулки я подтвердил в разговоре с Брежневым «конституционный характер» ГКП. Это было неверно в отношении как места, так и существа вопроса. Также неверен был и вывод, что «с тех пор у нас есть ГКП».

Более серьезной, чем мелкотравчатая полемика в собственной стране, была буря в стакане парижской воды. Во французской столице нашлись люди, пытавшиеся внушить президенту Помпиду, что перед визитом Брежнева во Францию я

«втиснулся» в его календарный план и, возможно, заключил с ним тайные договоренности. Конечно, это можно было легко опровергнуть, но, тем не менее, это напомнило о том, что каждый раз, когда Германия и Россия обсуждают общие вопросы, Франция следит за этим со скрытым подозрением. Впрочем, я не видел ничего плохого в том, что советский руководитель, когда речь идет о Европе, интересуется и мнением немцев. Развитие в Европе, говорил Брежнев, будет в значительной мере зависеть от того, как будут складываться отношения между Советским Союзом и Федеративной Республикой, с одной стороны, и с Францией, с другой стороны. Это было не так уж неверно.

Помпиду, принимавший Брежнева в начале декабря 1971 года в Париже, вряд ли возражал, услышав от своего гостя, что тот больше доверяет федеральному канцлеру, чем Германии. Мог ли я отвечать за то, что в Париже, как и в Москве и в других местах, все еще проводилось такое различие?

* * *

В Ореанде мы с Брежневым не раз часами беседовали друг с другом. Прежде всего о двусторонних отношениях и возможности общеевропейского сотрудничества, а также о Китае. Эту тему предложил я, но ее обсуждение оказалось бесплодным. Большое место, естественно, занимали советско-американские отношения и германский вопрос. На меня произвело впечатление то, как Брежнев после оживленных часов в зале для гостей в аэропорту, когда мы поехали вниз, к Крымскому побережью, затронул германский вопрос и тут же исключил его из дискуссии. Как только машина тронулась, он положил мне руку на колено и сказал: «В том, что касается Германии, Вилли Брандт, я вас хорошо понимаю. Но ответственность за это несем не мы, а Гитлер». А может быть, он даже сказал, что теперь мы ничего не можем изменить?

«Строго между нами», он хотел бы знать, будет ли действительно ратифицирован Московский договор. Неудача может отбросить нас на целые десятилетия. Не осталось незамеченным то, что я открыто говорил о слабом и хрупком большинстве моей коалиции, добавив к этому: «Я связал судьбу моего правительства с политикой договоров, и так оно и будет».

Казалось, что Брежнев старается избежать берлинской темы. Он не понимал, да и не хотел понять, что мы были начеку, чтобы не допустить еще большего отделения Берлина от Федерации, чем это предусматривалось выторгованным между державами-

победительницами особым статусом. За две недели до этого, 3 сентября 1971 года, было подписано новое четырехстороннее соглашение. Его немецкий перевод – западная или восточная редакция? – доставил нам немало неприятностей. Сначала Брежнев об этом ничего не хотел слышать, однако потом он поблагодарил меня за разъяснения, добавив, что эта благодарность его ни к чему не обязывает.

После Ореанды мои противники пытались мне приписать, что я вел с Генеральным секретарем переговоры о достижении единства Германии ценой ее нейтрализации. Это не соответствовало действительности, да и было бы нереально. В бундестаге я снова и снова объяснял, что прогресс на пути к германскому единству возможен лишь по мере общего и кардинального улучшения отношений между Востоком и Западом. После моей отставки в 1974 году мои эксцентричные противники даже распространили слух, что они привлекут меня к ответственности по обвинению в измене родине, если я «буду высовываться». Основание: я говорил с Брежневым о статусе безопасности для Германии, отличающемся от статуса НАТО.

* * *

Визит Брежнева в Бонн в мае 1973 года носил изнурительный характер. Русский был в плохой форме. Он производил впечатление утомленного и рассеянного человека. Создавалось впечатление, что он плохо себя чувствовал в совершенно незнакомой обстановке. Но дело было не только в этом. Ибо мы оба чувствовали, что американо-советские отношения снова ухудшились. За год до этого Никсон подписал в Москве Заявление о принципах взаимоотношений между обеими державами. По существу, это означало признание Советского Союза в качестве равноправной мировой державы. Но оказалось, что надежды президента и его госсекретаря, считавших возможным не допустить русских в страны «третьего мира», являются иллюзией.

Когда Брежнев находился в Бонне, наша политика договоров явно преуспевала: только что бундестаг одобрил договор об основах отношений с ГДР, за него проголосовали даже некоторые депутаты от оппозиции. Решение о вступлении в Организацию Объединенных Наций было принято еще более внушительным большинством голосов – примерно половина оппозиции высказалась «за». Произошел значительный подъем в торговле с Востоком. Мы подписали Договор о развитии экономического,

промышленного и технического сотрудничества сроком на 10 лет. Брежнев затянул старую песню, слова которой я уже знал наизусть: не хотим ли мы участвовать в освоении огромных природных запасов Советского Союза, и прежде всего Сибири? Там нас ожидают не только природный газ и уголь, но и важные руды, а таких богатых запасов леса нет нигде в мире. Конечно, говорил Брежнев, у нас различные системы: «У нас можно приказывать, у вас это иначе. Но, несмотря на это, если руководители дадут соответствующие импульсы, то и деловые люди начнут мыслить другими категориями. Я со своими людьми готов к более дерзким перспективам»…

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕ В ВАРШАВЕ

Еще в 1970 году, но и в более поздние годы меня спрашивали, почему я предпочел заключить договор сначала с Советским Союзом, а не с подвергавшейся неописуемому глумлению Польшей? Это был чисто абстрактный вопрос, в том числе и в понимании польского руководства. Выбора не было – ключ к нормализации лежал в Москве. А кроме того, там находилась не только власть, но и народ, который также претерпел ужасные страдания.

Однако я признаю: поляки – как народ, так и руководство – предпочли бы, чтобы наше заявление о границе по Одеру и Нейсе было сначала запротоколировано в Варшаве; в качестве «подарка от русских» оно имело для них лишь полцены. Разумеется, руководству было известно то, что общественность еще не могла знать: руководимое мной правительство будет готово признать новую польскую границу на договорной основе. Это я дал понять во время избирательной кампании 1969 года, то есть когда еще не было ясно, смогу ли я сформировать новое правительство. В 1970 году я сразу же согласился с польским предложением поставить в Варшавском договоре на первое место вопрос о границе и лишь затем отказ от применения силы.

Когда 7 декабря 1970 года после подписания договора я разговаривал с Владиславом Гомулкой, снова возникла проблема очередности. Польские журналисты подбросили из добрых побуждений идею, чтобы мы предпочли Варшавский Договор Московскому. Гомулка сказал: «Прошу вас не упускать из виду реальности. Любая попытка разорвать союзнические связи Польши, а тем более вбить клин между ней и великим соседом на Востоке обречена на провал. Впрочем, Московский договор был заключен раньше. Их следовало бы ратифицировать одновременно или через короткий промежуток времени».

Разумеется, поляки не хотели, чтобы к ним относились как к довеску ведущей державы. Точно так же им была неприятна мысль о том, что русские и немцы могут упражняться в решении вопроса, который они считали жизненно важным. Поляки не скрывали той горечи, которая наложила свой отпечаток на отношения с Советским Союзом; о том, что Сталин уничтожил их офицерский корпус, что Красная Армия в 1944 году остановилась на Висле и наблюдала, как истекает кровью Варшава, что пришлось смириться с потерей собственных восточных областей, нигде не говорилось открыто, но кое-где на это намекалось. Не в последнюю очередь вследствие этого они очень старались не

отстать от русских. Когда в сентябре 1971 года я встретился в Крыму с Брежневым, мне передали просьбу сделать на обратном пути остановку в Варшаве. Я ответил, что другие обязательства не позволяют мне сделать это. Позднее я часто задавал себе вопрос – и не только в связи с этим случаем – не слишком ли мы становимся рабами собственного графика?

Юзеф Циранкевич, бывший узник Маутхаузена, представитель социал-демократической части ПОРП – объединенной коммунистической партии – и премьер-министр, заявил в начале варшавских переговоров: оба наши правительства должны настроиться на своего рода психоаналитический курс и поначалу выяснить, что у нас не в порядке. Затем последует терапевтическая беседа. Многостороннее сотрудничество может нам помочь, а остальное исцелит время. Накануне подписания договора Гомулка сказал: «Нужно иметь в виду, что процесс сближения продлится как минимум десять лет». Однако и эта перспектива оказалась чересчур оптимистичной.

Первый человек в партии, а де-факто и в государстве в декабре того же года потерпел фиаско. Причиной послужили протесты против недостаточного снабжения. Вышедшие на демонстрации – особенно в Данциге – рабочие вынудили его уйти в отставку. Он был личностью, закаленной в рядах Сопротивления. В начале пятидесятых годов его арестовали как «титоиста». В 1956 году, вопреки воле Хрущева, он стал руководителем партии. Как и все коммунистические вожди, он владел ритуалом длинных речей, заменявших дискуссию. «С глазу на глаз» (не считая двух переводчиков) он произнес двухчасовую речь. Чтобы поддержать свой престиж, мне понадобился по крайней мере час для ответной речи, а потом все пошло по программе.

* * *

Варшавский договор прояснил «основы нормализации отношений» и показал, насколько тонок лед, по которому мы идем. Тем не менее для нас было важно констатировать, что (как и в других «восточных договорах») он не затрагивает заключенные ранее действующие договоры и не ставит под вопрос международные соглашения. Глава польского правительства не преминул упомянуть, что польская сторона сознает, что от имени Федеративной Республики договор подписывает человек, «который сразу же после захвата власти фашистами понял, каким неимоверным несчастьем это обернется

для немецкого народа, для народов Европы, для мира во всем мире».

В ответной речи я сказал: я сознаю, что никакой документ, как бы важен он ни был, не может засыпать насильственно вырытые рвы. По указанию правительств нельзя прийти к взаимопониманию, а тем более к примирению. Они должны созреть в сердцах людей обеих стран. Я рассказал своим партнерам о беседах с генералом де Голлем, в которых шла речь о Германии и Польше. Он и я были едины в том, что народы Европы должны сохранить свою самобытность и именно это открывает перед континентом широкие перспективы. Итак, мне известно, «что изолированных ответов больше нет, есть только общеевропейские. И это также привело меня сюда». А в речи по случаю подписания договора я сказал: «Мое правительство принимает результаты истории. Совесть и понимание привели нас к выводам, не будь которых мы бы сюда не приехали». Однако никто не должен ожидать, что в политическом, юридическом и моральном смысле «я возьму на себя больше, чем это соответствует сознанию и убеждению». Прежде всего «границы должны меньше разделять и причинять меньше боли».

Я привез в Варшаву необычный груз. Нигде народ, люди не вынесли столько страданий, как в Польше. Механизированное уничтожение польского еврейства явилось вершиной кровожадности, которую трудно себе представить. А кто назовет имена евреев из других частей Европы, уничтоженных в одном лишь Освенциме? На пути в Варшаву была память о шести миллионах убитых, память об агонии варшавского гетто, за которой я следил из Стокгольма и которая так же, как несколько месяцев спустя героическое восстание в польской столице, была почти не замечена воевавшими против Гитлера правительствами.

Программой моего пребывания в Варшаве предусматривалось на следующее утро после моего прибытия возложение двух венков. Сначала на могиле Неизвестного солдата. Там я почтил память жертв насилия и предательства. На экраны телевизоров и на страницы газет всего мира попало изображение, показывающее меня стоящим на коленях перед памятником, воздвигнутым в честь погибших жителей еврейской части города. Меня часто спрашивали: с какой целью был сделан этот жест? Был ли он запланирован? Нет, никоим образом. Для моих ближайших сотрудников это явилось не меньшей неожиданностью, чем для стоявших рядом со мной репортеров и фотокорреспондентов, а также для тех, кто остался дома, потому что они не ожидали ничего «нового».

Я ничего не планировал, однако дворец Вилянов, где меня

разместили, покидал с чувством, что следует как-то подчеркнуть особенность церемонии у монумента в бывшем гетто. Перед пропастью немецкой истории и под тяжестью памяти о миллионах убитых я сделал то, что делают люди, когда им не хватает слов.

Даже сейчас, двадцать лет спустя, я не могу это выразить лучше, чем тот корреспондент, который написал: «И вот он становится на колени. Он, для которого нет необходимости делать это за всех, кому это необходимо, но которые не становятся на колени, потому что не осмеливаются или не могут, или не могут осмелиться».

* * *

Дома, в Федеративной Республике, не было недостатка в язвительных, а тем более в глупых вопросах: не «перестарался» ли я с этим жестом? Польская сторона, как мне показалось, чувствовала себя смущенной. Вдень, когда это случилось, никто из моих хозяев не говорил со мной на эту тему, из чего я сделал вывод, что другие эту часть истории тоже еще не переварили. Карло Шмид, находившийся со мной в Варшаве, позднее рассказывал, что его спрашивали, почему на могиле Неизвестного солдата я возложил только венок, но не встал на колени? На другое утро в машине по пути на аэродром Циранкевич взял меня за руку и сказал, что очень многие были тронуты; его жена вечером звонила в Вену подруге, и обе они горько плакали.

Я рекомендовал министру иностранных дел поручить ведение переговоров о Варшавском договоре статс-секретарю Фердинанду Дуквитцу. Одна из его заслуг состояла в том, что он во время войны, будучи официальным лицом, многое сделал для спасения датских евреев. «Дуки»– это классический пример, как, являясь номинально членом партии, не обязательно было становиться нацистом. После войны он поступил на службу в министерство иностранных дел, досрочно вышел на пенсию, а благодаря мне вновь вернулся к активной деятельности. Сделал я это не в последнюю очередь потому, что у нас были схожие представления о восточной политике. И он, как обнаружилось на переговорах о балансировании платежей, умел находить общий язык с американцами. Вальтер Шеель не продлил приглашение на службу, приписав ему недостаток лояльности. Что же произошло? Перед началом третьего тура переговоров я дал Дуквитцу абсолютно безобидное письмо, которое должно было ему помочь добиться приема у Гомулки, но забыл предупредить об этом

Шееля. В Варшаве один из корреспондентов обратил на это внимание и написал, что главе партии было передано письмо от канцлера. Это сообщение вызвало различные спекуляции на этот счет и обычное для Бонна волнение. Что это были за «секретные контакты»? И что я мог сообщить первому человеку в Варшаве? Я как раз находился в Осло, где мне предстояло обсудить некоторые вопросы, когда мне позвонил взволнованный Шеель. Не сразу удалось его успокоить. Это оставшееся единственным недоразумение и вызвавший его организационный «прокол» удалось уладить по возвращении из Осло.

Чтобы привести к общему знаменателю правовые и политические реальности и политико-психологическую необходимость, пришлось поразмышлять по вопросу о границах. В начале 1970 года в докладе о положении нации я предупреждал: «То, что потеряли наши отцы, мы не обретем вновь ни чудесной риторикой, ни самыми отточенными юридическими ухищрениями». Тем не менее многим в Германии было трудно примириться с изменившимися реальностями нашего мира. В Польше граница по Одеру и Нейсе вообще стала национальным вопросом. Русские еще в 1950 году побудили ГДР признать ее, но этого было недостаточно. Слово Федеративной Республики было для поляков более весомым, хотя общей границы с ней не было. И они бы очень хотели и считали полезным, если бы Федеративная Республика – на случай заключения мирного договора – уже заранее приняла на себя обязательство уважать границу по Одеру и Нейсе. Ко мне по этому поводу не обращались. Я и не мог бы подавить в себе правовые сомнения противоположного рода.

В Потсдаме было записано, что германо-польская граница будет окончательно установлена только в «мирных договорах». Однако американский президент и британский премьер санкционировали в 1945 году выселение немцев и не возражали, когда была зафиксирована новая граница. Де Голль обиделся на них за то, что они его не пригласили в Потсдам, а не за то, что они действовали подобным образом.

Право миллионов немцев на родину сменилось таким же правом переселенных на Запад или родившихся там поляков. Во всем мире не нашлось ни одного правительства, которое было бы готово поддержать германские притязания в вопросе о границах. Прошло довольно много времени, прежде чем ведущие представители западного мира открыто и однозначно указали немцам на то, что им следует примириться с новой линией границы. Аденауэр и его доверенные лица знали положение дел. Но раздавались голоса многочисленных беженцев и изгнанных, особенно громко звучали голоса их профессиональных опекунов.

Социал-демократы лишь позднее решились плыть против течения. В моих ушах все время звучали слова Эрнста Рейтера, сказанные им в год своей смерти: нам нужно пойти навстречу полякам, нельзя требовать от них, чтобы они еще раз создали «государство на колесах». Тем не менее я нашел свою фамилию под документом, заканчивавшимся словами: «Отказ – это предательство». Оставив в стороне слова, должен сказать, что решающим для меня было то, что нельзя проводить восточную политику «за спиной изгнанных». Это означало, что они должны быть посвящены в наши дела и иметь возможность самим решить, что можно, а что нельзя. К этому нас обязывал также огромный вклад изгнанных с родины и бежавших восточных и судетских немцев в дело восстановления. В 1965 году памятная записка евангелической церкви в немалой степени способствовала снятию нервозности в дискуссии по этому вопросу. Католические епископы никак не решались сделать шаг навстречу своим польским собратьям. Тем не менее во второй половине шестидесятых годов дух перемен коснулся и федерального канцлера Кизингера, заговорившего о понимании стремления польского народа «наконец-то жить на собственной территории с гарантированными границами».

* * *

В связи с договором от декабря 1970 года возникли практические вопросы, на которые не удалось найти удовлетворительный ответ. С одной стороны, возможность для «фольксдойче» переселиться в Федеративную Республику или в одно из двух немецких государств. С другой – желание Польши получить материальное возмещение непосредственно или в форме крупного и дешевого государственного кредита. Кроме того, унификация школьных учебников и молодежный обмен, о поощрении которого мы просили, также оказались отнюдь не пустяками.

Польская сторона не захотела отразить в договоре вопросы эмиграции и переселения. Она настаивала на форме односторонней «информации»: «несколько десятков тысяч (нам объяснили, что это означает от 60 до 100 тысяч) лиц бесспорно немецкой национальности» должны были получить разрешение на выезд. Значительно большее количество прибыло в Федеративную Республику еще в пятидесятые годы при содействии национальных обществ Красного Креста. Теперь нужно было опять прибегнуть к помощи Красного Креста,

которому сообщили, что указанное польской стороной число не следует рассматривать как окончательный верхний предел, тем более что число желающих выехать несомненно больше. В перспективе намечались облегчения при поездках для посещения родственников. Не нашло (или почти не нашло) поддержки наше пожелание, чтобы оставшимся в Польше немцам было оказано содействие в развитии культуры, особенно путем преподавания языка.

Однако этим данная глава была далеко не завершена. Когда было рассмотрено примерно 60 тысяч дел, в Польше началось сильное сопротивление местной и региональной бюрократии. В Германии жонглировали цифрами. Сколько человек в действительности хотели переселиться? Доколе можно было говорить о воссоединении семей? А как быть, если немецкая и польская кровь там смешивалась в течение многих поколений? Нередко это означало: воссоединение на одной стороне, новое расставание – на другой.

В Варшаве Гомулка мне разъяснил: Польша в 1953 году отказалась от репараций, но примерно десять миллионов человек по западногерманским законам о возмещении ущерба имеют право потребовать этого. Исходя из этого, эксперты подсчитали, что сумма составит приблизительно 180 миллиардов марок ФРГ. Не лучше ли нам забыть о таких больших цифрах, а вместо этого договориться о скромном, но важном для Польши кредите сроком на десять лет без процентов или с небольшой процентной ставкой? В принципе я ничего не имел против «косвенного» решения, которое содействовало бы экономическому развитию. Правда, министерство финансов в те годы не соглашалось со снижением государством процентных ставок, хотя в других странах это было обычным явлением. Позднее это стало дороже. Взаимосвязь вещей, строго говоря, не имевших между собой ничего общего (кредит, компенсация имевшим право на пенсию полякам, угнанным во время войны на принудительные работы, и разрешения на выезд), в течение многих лет бросала тень на германо-польские отношения и обходилась Федеративной Республике все дороже; она объявила себя правопреемником германского рейха и практически не могла воспрепятствовать тому, чтобы ей не предъявляли счета.

Я никогда не скрывал, что считаю тяжелое материальное бремя психологической нагрузкой, и не хотел бы подсчитывать, какое влияние это окажет на последующие поколения. В конце концов, не следует забывать, что изгнанные со своей родины немцы потеряли не только землю, но и много ценного имущества.

То, что Польша в течение двух десятилетий, последовавших

за подписанием Варшавского договора, так редко приходила в состояние покоя, больше почти не зависело от ее отношений с немцами. Однако нормализация продвигалась не столь успешно, как этого хотелось. О желающих эмигрировать и разрешениях на выезд велись длительные переговоры и было немало полемики. Никто еще не подозревал, что в Федеративной Республике переселенцев более или менее немецкого происхождения уже далеко не всегда будут встречать с распростертыми объятиями. Верным всегда было и остается то, что отношения между немцами и поляками имеют особое значение для Европы.

«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА»

А как с Чехословакией? За эти годы меня нередко спрашивали, почему нормализация этих отношений затянулась еще на три года до конца 1973 года, а Пражский договор вступил в силу только летом 1974 года. За это время мы, как и ГДР, стали членами ООН, а в Хельсинки собрались министры иностранных дел Востока и Запада, чтобы подготовить общеевропейскую конференцию. Разве я или кто-то другой забыли, что требовали от Чехословацкой Республики еще накануне Второй мировой войны и какие страдания пришлось претерпеть там людям во время нацистской оккупации? Конечно, нет. Правовые или псевдоправовые споры вокруг Мюнхенского соглашения действительно заняли много времени. Но эта по существу верная ссылка была лишь полуправдой. Ибо политика Праги в значительной степени была парализована последствиями августовских событий 1968 года, которые наложили свой отпечаток на то, что происходило во время моего визита в Прагу в декабре 1973 года.

Казалось, что холодная погода выражает настроение присутствующих. Тем не менее я внимательно слушал принимавших меня чехословацких руководителей, когда они говорили о страданиях и о надеждах своего народа, а премьер-министр Любомир Штроугал, державшийся не так натянуто, как большинство его коллег по руководству (он занимал этот пост до 1988 года), вспоминал о «терновом венце Лидице», когда уже отмеченный печатью скорой смерти генерал Свобода, бывший в 1968 году главой государства, очень дружелюбно призывал к «добрососедству», а Густав Гусак, руководитель партии, вскоре ставший и президентом страны, согласился выполнить мою просьбу о помиловании нескольких находившихся в заключении немцев. Посмотрим, пообещал он, что тут можно сделать.

В конце концов он-то хорошо знал, что такое тюрьма. Он сидел там и тогда, когда его партия была у власти. По нему было видно, что он очень хотел бы оказаться в такой же роли, какая в тяжелые годы после 1956 года выпала на долю Яноша Кадара. Но то, что – по крайней мере частично – удалось на Дунае, никак не получалось на Влтаве. Гусак и его группа потерпели фиаско – главным образом из-за того, что они не смогли преодолеть недоверие своих сограждан.

В своей пражской речи я вспомнил о своем приезде в этот город зимой 1936/37 и летом 1947 года, о той роли, которую играла Прага в жизни немецкой эмиграции, о важных отрезках

нашей общей истории – сообществе немцев и славян в богемских землях, трагедии гитлеровской оккупации, другой трагедии, трагедии поголовного изгнания, о которой я написал одним из первых.

* * *

«Пражская весна» 1968 года очаровала и меня. Внутренне я тоже не был готов к тому, что ответом на борьбу коммунистов-реформаторов станет вторжение войск стран Варшавского Договора. Все утверждения, что оно было вызвано западногерманским вмешательством или даже военными приготовлениями на нашей территории, были взяты с потолка. Однако нам это приписывали не только на Востоке, кое-где этому верили и на Западе. Когда я вскоре после того злосчастного 21 августа прибыл в Париж, Мишель Дебре, сменивший Кув де Мюрвиля на посту министра иностранных дел, вполне серьезно упрекнул меня в том, что якобы наша активность вредит делу. Французская разведка снабдила его сногсшибательной информацией. Такое случается. Французский министр иностранных дел был прав, предупреждая НАТО об опасности бессмысленного реагирования. Но он явно недооценил значение случившегося, назвав новую пражскую трагедию «дорожным происшествием на пути к разрядке». Заодно с ним был даже де Голль, который упрекнул Кизингера в том, что федеральное правительство вдохновляло пражских реформаторов и, следовательно, несет часть вины за случившуюся трагедию. А в качестве, так сказать, конфиденциального приложения добавил: Брежнев перед этим получил от Джонсона заверение, что Соединенные Штаты ничего не будут предпринимать.

То, что один из ведущих немецких либералов незадолго до того, как кризис достиг своей высшей точки насилия, побывал в Праге, возможно, было излишним, но это никак не могло повлиять на отношения между Прагой и Москвой. Готовность руководства Федерального банка на месте вести переговоры о расширении двусторонних отношений, после того как летом 1967 года наконец-то открылись торговые представительства обеих стран, ни в коей мере не носила враждебный характер по отношению к другим государствам. Встреча Эгона Бара, в то время начальника отдела планирования в руководимом мной министерстве иностранных дел, с чехословацким министром иностранных дел Иржи Гаеком во время его остановки в аэропорту во Франкфурте-на-Майне была вызвана оправданной

заинтересованностью в получении информации, и ничем больше. Однако из всего этого сконструировали нечто в высшей степени предосудительное. СДПГ также пришлось выслушать кучу бессмысленных упреков.

То, что социал-демократы в моей стране так же, как и в других странах, восприняли планы строительства «социализма с человеческим лицом» с большой симпатией, не могло никого удивить. Службы, специализирующиеся в получении секретной информации, разумеется, знали, как неукоснительно немецкие социал-демократы придерживались принципа невмешательства. Стремление к восстановлению чехословацкой социал-демократии (за самое короткое время возникло более трехсот местных организаций) нами ни в коей мере не поощрялось. Не все понимали, что там, где превыше всего была европейская ответственность за судьбы мира, социал-демократическая солидарность отступала на второй план.

* * *

Известие о военной интервенции стран Варшавского пакта застало меня на борту судна у берегов Норвегии. Я вылетел в Осло, а оттуда на самолете бундесвера в Бонн. Мои сотрудники в министерстве иностранных дел и в правлении партии так же, как и все, кого я встречал в те часы, были потрясены тем, что свободолюбивые порывы Пражской весны были раздавлены гусеницами танков. Я был подавлен и сгорал от стыда, что в карательной акции участвовали немецкие солдаты из Народной армии ГДР. Их численность была невелика, но сам по себе этот факт возмутил меня больше, чем моих консервативных коллег, считавших, что от коммунистов ничего другого нельзя было и ожидать.

Вождь румынской партии Николае Чаушеску, который уже после этого потерял рассудок и своим правлением повел страну к гибели, в то время выгодно отличался от руководителей других стран Варшавского Договора. Он отказался от участия в интервенции и оставил солдат в казармах. 21 августа на митинге под открытым небом он осудил вторжение. Во многих столицах его послы на крайний случай прощупывали возможность получения конкретной помощи. Чехословацкие оппозиционеры пришли к выводу, что Румыния избежала интервенции потому, что она продемонстрировала свою готовность к обороне. По поводу практического применения этого тезиса реформаторы, что, впрочем, неудивительно, не смогли прийти к общему

мнению.

В первые же дни после вторжения я случайно встретил пражского друга по стокгольмским дням. Вальтер Тауб снова вернулся к своей профессии актера и с успехом выступал на немецкой и австрийской сцене. Как и большинство интеллигенции, он был на стороне реформаторов. Будучи коммунистом, он со слезами на глазах спросил меня: «Неужели ни от кого в мире нельзя ждать помощи и неужели Европа это стерпит?» Я понимал тех, кто так воспринимал происшедшее, но ничем не мог им помочь. И уж совсем я был бессилен, если в своей беде и отчаянии они ожидали от западного союза нечто такое, для чего он не был создан.

Слов в эти дни было много. Но разве существовала разумная альтернатива курсу разрядки? В Бонне мы себе сказали, выйдя за рамки руководящих кругов моей партии, что возврат к временам усиленной конфронтации не поможет ни Чехословакии, ни кому-либо еще.

Я не дал себя вовлечь в кампанию по критике пражских реформаторов. Уж немцам-то, во всяком случае, не пристало обсуждать вопрос, достаточно ли стратегическим было их мышление и тактически грамотными – их действия. Кроме того, из подобных рассуждений редко получается что-то путное. Кому охота руководить столь широким движением за реформы, кто может направить в одно русло столь многообразные стремления к свободе? К тому же когда речь идет о народе с такими свободолюбивыми традициями?

Секретарь словацкой партии Александр Дубчек, сменивший в январе 1968 года в Праге руководителя компартии Новотного и опиравшийся на поразительный культурный подъем двух предшествующих лет, всплыл на гребне волны симпатий и доверия. Его сместили и заставили замолчать вероломные товарищи по партии, действовавшие сообща с соответствующими советскими органами. Как милостыню, он получил место посла в Анкаре, а позднее жил в изоляции под Братиславой. Мне импонировала его гордая стойкость. Он остался коммунистом, но самоотречения от него не добились. Когда его обвинили в сомнительных политических связях, он совершенно справедливо сослался на меня, сказав, что ради честного компромисса и делового сотрудничества он тоже приложил бы свои усилия. Ему не позволили это сделать.

ЧССР превратилась в отстающего партнера в области политических отношений между Западом и Востоком. Премьер-министр Румынии Ион Георге Маурер, этот интересный, всегда сыпавший остротами человек, как-то зло пошутил, сказав, что

Чехословакия – самое нейтральное государство в мире. Почему? Да потому, что она не вмешивается даже в свои собственные дела.

ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ

В правительственном заявлении от октября 1969 года я констатировал, что «хотя в Германии существуют два государства, они друг для друга не являются заграницей – их отношения друг с другом могут носить только особый характер».

Это явилось непременным расставанием с отжившими представлениями. Многие на это рассчитывали, но для многих это явилось неожиданностью.

Я смог предпринять этот шаг, без которого в проведении восточной политики не было бы движения вперед, только потому, что больше не ставил его на обсуждение. Конечно, важным было то, что я заручился согласием Шееля. Федеральный президент тоже был согласен. Эгон Бар считал, что не следует торопиться с заявлением, но никому, кроме меня, он не высказывал свои сомнения. Хорст Эмке, новый министр в ведомстве канцлера, успокоил меня с точки зрения конституционного права. Волнение было огромным.

Признание факта, что ГДР представляет собой второе государство на немецкой земле, и готовность к переговорам об урегулировании практических вопросов были взаимосвязаны. Это я усвоил еще будучи бургомистром Берлина. В качестве федерального канцлера я предложил переговоры без дискриминации и без предварительных условий.

Реакция руководства ГДР была неестественной. В декабре 1969 года Вальтер Ульбрихт, выступая как председатель Госсовета, направил федеральному президенту Хайнеманну проект договора, целью которого было признание ГДР в соответствии с нормами международного права и установление равноправных отношений с ФРГ. Но какие препятствия таило это предложение! Советская сторона предложила помощь – в конце концов, она не хотела излишне обременять договор с Бонном, «торги» по которому предстояли, и просигнализировала о своей готовности принять нашу точку зрения, даже если она считала наше «нет» международно-правовому признанию ГДР нелогичным. Коммюнике нельзя было понять превратно: за переговоры, не отягощенные больше никакими предварительными условиями. Мне было тактично указано, что, как я, наверно, помню, в Берлине уже в марте бывает довольно хорошая погода.

* * *

22 января 1970 года я обратился с письмом к Вилли Штофу, председателю совета министров ГДР, в котором предложил ему начать переговоры об отказе от применения силы, а также о соглашении по урегулированию практических вопросов. В этом случае предметом обмена мнениями могли бы стать и равноправные отношения. Штоф пригласил меня на февраль в Восточный Берлин. Однако из этого ничего не получилось, так как другая сторона пыталась мне предписать способ прибытия – на самолете до Восточного Берлина. Я же собирался приехать на поезде и сделать остановку в Западном Берлине. Мы искали и нашли выход, согласившись встретиться 19 марта в Эрфурте, в Тюрингии. Перед тем как сесть в поезд специального назначения, я подтвердил, что для меня политика имеет лишь один смысл: «Она должна служить людям и миру».

День Эрфурта – был ли в моей жизни другой день, столь же наполненный переживаниями? По ту сторону германо-германской границы вдоль полотна стояли люди и махали мне руками, хотя народная полиция должна была бы вмешаться. Женщины приветствовали меня из окон домов, а их мужья – со своих рабочих мест или стоя на улице. Я ехал по исконной земле немецкого протестантизма и рабочего движения.

Вилли Штоф встречал меня на вокзале, откуда мы пошли в гостиницу «Эрфуртер хоф». Собралась большая толпа, люди что-то радостно выкрикивали. Когда я отошел от окна, они начали скандировать: «Вилли Брандт – к окну!» Я не сразу последовал этому призыву, но потом все же подошел для того, чтобы жестами попросить их вести себя сдержаннее. Я был тронут, видя, что народ со мной. Каким же сильным должно было быть проявившееся таким образом чувство солидарности и единства! Но тут же возникал вопрос: не прорываются ли здесь наружу надежды, которым в ближайшее время не суждено сбыться? Завтра я опять буду в Бонне. Могу ли я быть уверенным в том, что мое влияние поможет тем, у кого из-за их симпатичной демонстрации возникнет конфликт с менее симпатичным начальством?

В течение дня были мобилизованы люди, верные линии партии. Они взяли под свой контроль площадь перед отелем, в котором проходили переговоры, и время от времени радовали другого Вилли – господина Штофа – возгласами в его честь. Во второй половине дня я в сопровождении министра иностранных дел ГДР Винцера посетил бывший концлагерь «Бухенвальд». Здесь снова проявилась общность наших судеб, хотя наши «мелодии» и

не были созвучны. По дороге туда и обратно на окраинах Веймара – снова много приветливо машущих руками людей.

Председатель совета министров не произвел на меня особенно сильного впечатления. То, что говорилось или, как правило, зачитывалось за столом переговоров, не оправдывало затрат. Штоф делал вид, что он проникнут сознанием непогрешимости СЕПГ. Трудно поверить, но он действительно назвал возведение стены «актом человечности». А Западная Германия, сказал он, должна отвечать за то, что это обошлось гражданам ГДР в сто миллиардов марок.

В чем мы, однако, были друг с другом согласны и что в последующие годы сделалось чересчур распространенной формулой – это то, что «с немецкой земли не должна больше исходить война». Согласились мы и с тем, что нам не нужен переводчик. Коллега с другим номером полевой почты сказал: «Немецким-то мы владеем оба».

Вилли Штоф делал вид, что его ничего, кроме международно-правового признания ГДР, не интересует, а об отношениях особого рода нечего больше и думать. Таким образом, удалось заблокировать или, по крайней мере, отодвинуть то, что мы хотели обсудить в первую очередь, – как облегчить людям жизнь. С другой стороны, он не скрывал, сколь велик был интерес к успешному развитию торговли. С глазу на глаз он не опасался затрагивать тему ЕЭС. Благодаря настояниям Федеративной Республики, ГДР в некоторых областях сделалась негласным участником Экономического Сообщества. В других странах Восточного блока за этим следили не без зависти.

Задание, с которым посланец Ульбрихта прибыл в Эрфурт, однако, гласило: добиться международно-правового признания, а кроме того, выиграть время. Ибо в Восточном Берлине, как и в Бонне, было хорошо известно, что в советской столице начались переговоры о заключении Московского договора. Отбросит ли это ГДР назад или ей удастся еще до их окончания кое-что отхватить и для себя?

Утром во время беседы с глазу на глаз, а потом вечером председатель совета министров спросил: «Почему бы нам не договориться немедленно об обмене послами?»

Вечером он добавил к сказанному: «Почему бы не опубликовать заявление о том, что мы по обоюдному согласию ходатайствуем о принятии нас в ООН?» У нас было другое «расписание». В конце концов, мы должны были все время думать и о том, чтобы у Федерального конституционного суда не было оснований нас дезавуировать из-за характера согласуемых с ГДР отношений.

19 марта, поздно вечером, мы еще раз встретились со Штофом для короткой беседы без наших сотрудников. Это было сделано для того, чтобы избежать впечатления, что встреча закончилась полным провалом. При этом мы уже договорились о второй встрече 21 мая в Касселе. В докладе Штофа в Народной палате говорилось: «В ФРГ не многое изменилось». Печать ГДР буквально упрекала правительство Брандта в том, что оно все еще не отказалось от агрессивных намерений.

* * *

Встреча в Касселе прошла под несчастливой звездой. Полиция не справилась с поставленной задачей. Несколько тысяч нацистов и те, кто своим поведением напоминал их, собрались под лозунгом «Акция сопротивления». Развернутый ими транспарант «Брандта к стенке!» получил дополнение, необходимое для того, чтобы гость из Восточного Берлина не почувствовал себя обойденным вниманием. Впрочем, он распорядился, чтобы его приветствовало какое-то число приверженцев коммунистической партии. Машина, в которой мы ехали с вокзала в гостиницу «Шлосотель», подверглась нападению. Перед гостиницей юные фанатики сорвали флаг ГДР.

Пришлось отменить возложение венков у памятника жертвам фашизма. Сделали мы это только вечером. Когда скандалисты удалились, Кассель показал себя с лучшей стороны. Однако ГДР использовала эти внешние проявления для того, чтобы как можно меньше сказать по существу предложенных тем. Мы охватили принципиальные и практические вопросы, содержащие уже некоторые элементы договора, в хорошо сформулированных двадцати пунктах и обогатили их двумя предложениями особого рода: провести обмен постоянными представителями и приложить взаимные усилия или использовать все возможности для вступления в международные организации.

В отличие от нашей беседы с глазу на глаз, за столом переговоров Штоф заговорил в довольно резком тоне, которого он придерживался все это время. Он заявил, что договор возможен только на основе международного права, и повторил то же, что и в Эрфурте: «Не могли бы мы во всяком случае договориться и подать одновременно ходатайство о приеме в члены ООН?» Развернутая против него «злобная травля» очень затруднила, как заявил Штоф, подготовку к встрече в Касселе. В действительности в отношении Штофа было отдано распоряжение о «непривлечении его к уголовной ответственности»– этакое

трогательное проявление немецкого простодушия! С другой стороны, он не хотел сдерживать решение практических вопросов, особенно в области торговли. Штоф заявил: «Не должно создаться впечатление, что Кассель означает разрыв наших отношений или прекращение усилий. Возможно, сделать паузу для обдумывания было бы совсем неплохо». Домой он сообщил, как нам немедленно донесли, что паузу для обдумывания предложил я. Публично же он дал такое толкование: нам необходимо время, чтобы собраться с мыслями. Так уж обстоят дела с расстановкой акцентов не только тогда, когда это делают коммунистические партнеры по переговорам.

Частично наши беседы с глазу на глаз происходили в Касселе на открытом воздухе. Штофу это давало возможность вести себя непринужденно. Казалось, его воодушевляет уверенность в том, что его не подслушивают. Именно теперь он отчетливо понял, что решающую роль играют наши переговоры с Советским Союзом. Вечером, перед тем как перейти в зал заседаний, он еще раз повторил: «Сотрудничество в области экономики, транспорта, почты ни в коем случае не должно пострадать».

Он поблагодарил за то, что возложение венков все же состоялось и что население, в отличие от дебоширов, вело себя подчеркнуто дружелюбно.

* * *

В то время как новые соглашения с ГДР состоялись лишь в 1971 году, когда Ульбрихт отошел от решения оперативных вопросов, послы четырех держав – советский в ГДР и три от западных держав в Бонне – в конце марта 1970 года начали переговоры по Берлину, за которые мы выступали в течение продолжительного времени.

Еще в 1968 году, будучи министром иностранных дел, я убедил своих коллег от трех западных держав в необходимости начать переговоры с Советским Союзом, чтобы добиться улучшений в Берлине и для берлинцев. Среди прочего я смог сообщить коллегам, что реакция посла Абросимова на предложение о полном возмещении расходов за пользование подъездными путями к Берлину была положительной. Во время конференции НАТО на уровне министров в Вашингтоне в апреле 1969 года министры иностранных дел по моему настоянию договорились о том, что три западные державы по официальным каналам выяснят точку зрения Советского Союза по единственной теме: улучшение положения в Берлине и вокруг Берлина.

Послы в Москве сделали соответствующее представление в июле 1969 года. Они изложили Советскому правительству, что федеральное правительство готово к переговорам с ГДР по транспортным проблемам и стремится к улучшению положения в Берлине и вокруг него, особенно в смысле доступа. Затем они дали понять, к каким компромиссам готов Бонн (речь шла о правительстве Большой коалиции) в отношении советских жалоб на некоторые действия ФРГ, относящиеся к Берлину. В конце февраля 1969 года, перед избранием Хайнеманна на пост президента, федеральный канцлер Кизингер заявил советскому послу, что мы готовы отказаться от проведения выборов федерального президента в Берлине, если в ответ на это Советский Союз использует свое влияние, чтобы дать западным берлинцам возможность посещать восточную часть города. Громыко дал ответ 10 июля в своей речи на сессии Верховного Совета, обосновав, в свою очередь, принципиальную готовность Советского Союза обменяться с «союзниками по войне» мнениями о предотвращении в будущем «осложнений вокруг Западного Берлина». Осознание того, что Московский договор, а вернее, его ратификация невозможна без соглашения по Западному Берлину, продолжало творить чудеса.

Добиться соглашения по Берлину помогла неофициальная, но в высшей степени эффективно действовавшая «тройка» в Бонне: американский посол Кеннет Раш, бывший также официальным участником переговоров по Берлину (он пользовался личным доверием Никсона); советский посол Валентин Фалин; статс-секретарь в ведомстве канцлера Эгон Бар. Генри Киссинджер, который установил прямую связь с Баром и, по соображениям целесообразности, поддерживал в Вашингтоне контакт с послом Добрыниным, в своих мемуарах подробно описал этот интересный способ урегулирования кризисных ситуаций.

Однако переговоры сдвинулись с мертвой точки лишь тогда, когда Запад и Восток договорились вынести за скобки вопросы статуса и права; в советском проекте от марта 1971 года речь уже шла только о «соответствующем районе».

Мы хотели, чтобы доступ в Западный Берлин был обеспечен, а связь с Федерацией – подтверждена. С этим было связано право федерального правительства представлять Западный Берлин и его граждан за границей. Кроме того, мы хотели добиться права на посещения в Восточном Берлине и за его пределами.

Руководство ГДР стремилось, по крайней мере, добиться суверенитета в отношении подъездных путей и вытеснить из Берлина федеральные учреждения. Однако ему пришлось в значительной степени пойти на попятную. Щепетильный вопрос

связей с Федерацией привлек чересчур большое внимание дипломатов. Дело в том, что было сделано два немецких перевода: один – в редакции западной стороны, другой – восточной. Против единого официального немецкого текста выступил французский посол, мотивируя его тем, что немцы не являются договаривающейся стороной. По пять сотрудников от каждого германского государства совместно с владеющими немецким языком советниками посольств США и СССР установили в текстах переводов девятнадцать смысловых расхождений. По большинству из них удалось прийти к общему знаменателю. Открытым оставался вопрос, означает ли английское «ties» «связи» или «единение»?

* * *

Парафированное в сентябре 1971 года четырехстороннее соглашение, хотя оно могло вступать в силу лишь постепенно, явилось значительным прогрессом. Сообщение с Берлином происходило в основном без помех, а возможности для посещения намного превосходили то, чего мы достигли соглашением о пропусках. В известной степени в последний момент мне еще удалось внести ясность в вопрос, имевший, с моей точки зрения, важное значение. Летом 1971 года я направил Брежневу написанное от руки письмо, в котором содержалась просьба, чтобы советский посол больше не препятствовал решению вопроса о паспортах ФРГ для западных берлинцев. Когда я был бургомистром, меня особенно возмущало непризнание таких паспортов в странах Восточного блока. Французов и англичан удивила внезапная уступчивость Абросимова. Американцы, все старания которых оставались тщетными, были проинформированы о предпринятых мной шагах, и это их не удивило. По новым правилам в паспорте ФРГ для западных берлинцев, шла ли речь о поездке в Москву или в Прагу, должен стоять штемпель «Выдан в соответствии с четырехсторонним соглашением от 03.09.1971».

В самом Берлине успех поначалу не получил достойной оценки. Нелегко было расстаться с представлением о «столице, временно лишенной своего столичного статуса». Вместо того чтобы получить подтверждение этому, пришлось примириться с недвусмысленной оценкой, согласно которой Западный Берлин не является «конститутивной частью» Федеративной Республики. Сокращение демонстративного «федерального присутствия» было, правда, не особенно обременительным. Оно компенсировалось

щедрой помощью, которую Федерация оказывала Берлину как центру культуры.

Вальтеру Ульбрихту, воспротивившемуся советским требованиям об улучшении отношений с Федеративной Республикой, пришлось в мае 1971 года оставить свой пост главы Единой партии. Я с ним никогда не встречался, но неоднократно слышал отзывы о нем, в том числе и от моих восточных собеседников, как о всезнайке и унылом человеке. Абсолютно не зная его, я тем не менее в некотором смысле находился под впечатлением его упрямства. Я считал, что в его пользу говорит то обстоятельство, что при нем – в отличие от Праги и Будапешта – не проводились показательные процессы над «уклонистами», заканчивавшиеся смертными приговорами. Ульбрихта сменил Эрих Хонеккер, ставший после его смерти летом 1973 года также председателем Государственного совета.

Соглашение четырех держав по Западному Берлину должно было быть дополнено договоренностями между обеими германскими сторонами. Уже в декабре 1971 года состоялось подписание соглашения о транзитном сообщении, благодаря которому наконец-то были округлены тарифы. Сенат Западного Берлина заключил соглашение, регулирующее вопросы посещения жителями Западного Берлина ГДР. Особое значение имел транспортный договор с ГДР, заключенный в мае 1972 года, в том же месяце, в котором прошли через бундестаг Московский и Варшавский договоры. Транспортный договор при девяти воздержавшихся и ни одном «против» был одобрен прежде, чем депутаты досрочно распущенного в сентябре бундестага разъехались по домам.

В том же мае 1972 года Никсон и Брежнев наметили еще более далеко идущие цели. В июле представители четырех держав подписали в Берлине Заключительный протокол и устранили, таким образом, последние препятствия – соглашение вступило в силу. Советы затягивали этот последний акт до тех пор, пока он не совпал с ратификацией договоров. В конце года оба германских государства заключили Договор об основах взаимоотношений, о существе которого договорились статс-секретарь Эгон Бар и Михаэль Коль. В глазах многих этим закреплялась разрядка в Европе. Как когда-то блокада символизировала «холодную войну», так и теперь урегулирование вопроса о сосуществовании двух германских государств, которое должно было превратиться в единое существование, оповещало о начале нового этапа послевоенной истории Европы, хотя и не исключало возможность заморозков.

Договором об основах отношений предусматривалось

открытие постоянных представительств и облегчалось выполнение гуманитарных задач. В преамбуле содержалось указание на «различие во взглядах по принципиальным вопросам». Так же как в Москве было вручено особое письмо, порожденное надеждой на то, что будущие поколения будут жить в Германии, в политическом устройстве которой смогут участвовать все немцы сообща.

Оба правительства ввели договор в действие 20 июня 1973 года. На следующий день Совету Безопасности были представлены два заявления о приеме в члены ООН. Вначале июля в Хельсинки собрались министры иностранных дел, чтобы подготовить общеевропейское совещание. Особенно большое значение для человечества – и для национального сплочения! – имело облегчение возможности посещений, чем уже вскоре воспользовались миллионы граждан, хотя в основном в направлении с Запада на Восток.

В начале семидесятых годов, конечно, нельзя было достичь больше того, что было достигнуто. Мы не могли заставить исчезнуть стену по мановению волшебной палочки. Не удалось найти решения для Берлина в целом. Была ли попытка обречена на неудачу? Как в рамках нового процесса сближения разных частей Европы будет решаться германский вопрос, оставалось неясным. Однако у меня не было ни малейшего сомнения в том, что укрепление мира и согласия в сердце Европы является долгом обоих германских государств. Такая услуга, оказанная Европе, была бы запоздалой компенсацией за несчастья, исходившие с немецкой земли. Общая ответственность существует и при расколе. Теперь казалось не таким уж невозможным сделать тяготы этого раскола более терпимыми.

* * *

Иногда высказывается мнение, что настоящее признание ГДР состоялось лишь осенью 1987 года, когда Хонеккер нанес визит в Бонн. Если эта теория верна, то внутриполитическая борьба, начавшаяся за семнадцать с половиной лет до моей поездки в Эрфурт, являлась битвой призраков. Причем и осенью 1987 года не стеснялись придумывать протокольные каверзы. Меня и позабавило, и поразило, когда я увидел, как встречали председателя Госсовета перед ведомством канцлера, слегка сократив военную церемонию: рота почетного караула выстроилась в несколько уменьшенном составе, рапорт отдавал не командир роты, а его заместитель, исполнялись не

государственные гимны, а просто гимны, что, впрочем, не отразилось на их мелодии.

Режиссеров этого спектакля в какой-то мере оправдывало то, что наследие времени, когда протокол заменял политику, отбрасывало очень длинную тень. Федеративная Республика настолько запуталась в ритуалах непризнания другого немецкого государства, что она не смогла бы враз избавиться от этих пут. Работая еще в Берлине, я понял, что разъяснять иностранцам нашу философию непризнания очень трудно, а порой и безнадежно. Гарольд Вильсон, став премьер-министром, в шутку сравнил сложившуюся ситуацию с посещением зоопарка: если я узнал слона, это еще не значит, что я его признаю…

ДЕ ГОЛЛЬ: «ВОСТОК – ЧАСТЬ ЕВРОПЫ»

В первый раз я был в Елисейском дворце в июне 1959 года. Де Голль приветствовал меня по-немецки. Каждый из нас, как и при всех последующих беседах, говорил на своем родном языке. Его переводчик, врач родом из Берлина, бывший участник Сопротивления, вел запись беседы и, если мы хотели быть особенно точными, помогал при переводе «трудных» формулировок. Генерал на посту президента расспрашивал меня подчеркнуто дружелюбно, но, тем не менее, на манер главнокомандующего, наводящего справки у командира дивизии:

«Что может бургомистр рассказать мне о состоянии дел в Берлине?»

«Какова ситуация в Федеративной Республике?»

«Каково положение в Пруссии?»

Я не сразу сообразил, что под «Пруссией» подразумевается ГДР. Сделанное мною разъяснение привело, правда, только к тому, что в следующий раз он говорил о «Пруссии и Саксонии». Так ему подсказывало его понимание исторических взаимосвязей. Общественным системам и наднациональным группировкам он не придавал никакого значения, нациям и государствам – огромное. Советы для него всегда оставались «русскими».

Наконец, он хотел знать: «А что делает СДПГ?» Этого четвертого вопроса я ждал меньше всего. После моего короткого сообщения президент заметил, что, с его точки зрения, бургомистр Берлина входит в число тех людей в Европе, о которых еще будут говорить. На следующий год он развил этот тезис. Я сделал тогда следующую запись: «Он сослался на то, что говорил мне в 1959 году о роли различных личностей в деле дальнейшего развития Европы».

Он вежливо, но решительно отклонял приглашения посетить Берлин, к чему я за эти годы неоднократно пытался привлечь его внимание. В первый раз в 1959 году он объяснил свои сомнения тем, что не располагает такими средствами, как американцы. Открытым текстом это значило, что он не хочет гарантировать то, что, возможно, не выполнит ведущая держава Запада. В конце 1959 года он сказал британскому премьер-министру Гарольду Макмиллану, которому связанный с Берлином риск казался чересчур большим: «Вы не хотите умирать за Берлин, но вы можете быть уверены, что русские этого тоже не хотят». Несколько позже он не особенно убедительно и с

обескураживающим цинизмом разъяснил мне, что не может приехать, так как его приезд будет означать «признание стены». «В отношении американцев есть опасения, что они идут на неверные компромиссы, – сказал он. – Впрочем, у Запада достаточно возможностей дать на советское давление в Берлине контрответ в другом месте. Жители Западного Берлина, – продолжал де Голль, – не должны сомневаться во Франции, но она не одна и, к тому же, не самая сильная из западных держав». (Это, конечно, не было преуменьшением.) «В позиции Франции по Берлину, – так он говорил в 1963 году, – не может быть никаких сомнений».

Его политика состоит в том, чтобы не отдавать ничего, что принадлежит свободному миру. Если существует шанс ободрить людей на Востоке и облегчить их жизнь, то он готов им воспользоваться. Его беспокоят переговоры американцев с русскими потому, что все время приходится опасаться за позиции Запада. В ООН следует быть особенно начеку, прежде всего из-за нейтральных государств, так как они склонны занимать позицию, устраивающую Советский Союз. Из этого, по его мнению, следовало: никаких изменений статуса Берлина. Он может оставаться таким еще восемнадцать лет. Тогда будет видно, где стоят русские. Должен ли был правящий бургомистр считать эти заявления конструктивными?

* * *

В понимании де Голля Восток никогда не переставал быть частью Европы. Однако лишь в последние годы своего президентства он пытался сделать из этого политические выводы. Они были неразрывно связаны с его позицией по отношению к Соединенным Штатам. Он не верил, что атомная мощь США защитит Европу; во всяком случае, самостоятельность, к которой он стремился, была несовместима с принадлежностью к интегрированному НАТО.

Когда Франция в 1966 году, заранее об этом уведомив, вышла из общей и интегрированной организации обороны Запада, НАТО перенес свою штаб-квартиру из Фонтенбло в Брюссель, а французские войска в Германии были выведены из командной структуры союза, президент был уверен в правильности своего шага: Федеративная Республика Германии не захочет, да и не сможет сделать то же самое. Можно легко требовать: «Американцы, вон из Франции!», будучи уверенным, что они остались в Германии. В свое время получила распространение

формула «Американцы, вон из Европы, но не из Германии!».

Аденауэру откровенно и без всякой дипломатии де Голль заявил летом 1960 года: положение Франции в НАТО «в ее нынешней форме» не может долго оставаться неизменным. А мне он сказал несколько позже, что не надо считать его безрассудным; само собой разумеется, он также придерживается мнения, что Атлантический альянс должен остаться, о частностях можно будет договориться.

На мое замечание, что многим из нас также не нравится роль сателлитов или острия США, он ответил, что с пониманием относится к ситуации в Германии, и добавил с некоторым сарказмом: «Был период Даллеса, когда политика Запада сводилась к тому, чтобы победить Советский Союз, а после этого решить германский вопрос. Теперь же у нас, кажется, хотят решить германский вопрос таким образом, что западные державы время от времени подают петицию Москве». Хотя у Франции не очень хороший опыт отношений с объединенной Германией, он за национальное единство. Однако нам следует знать, что у нас не будет никаких шансов, если мы не признаем границы с Чехословакией и Польшей (заодно он добавил еще и Австрию!). Кроме того, мы не должны стремиться к обладанию ядерным оружием. Термин «право участвовать в совместном решении» у него буквально растаял во рту, когда он спросил, может ли здравомыслящий человек всерьез думать, что ядерная держава предоставит кому-то право участвовать в решении вопросов, связанных с ее атомным оружием.

В 1963 году он мне сказал: «Если мы хотим иметь Европу, то она и должна быть Европой, а не Америкой плюс отдельные европейские государства». Впрочем, или будет война, или Советский Союз столкнется с новыми проблемами. Как доктрина и как режим коммунизм в России и Восточной Европе «гораздо менее убедителен, чем во времена Сталина». Он проинформировал другую сторону, какие основные вопросы следовало бы включить в мирное урегулирование. Для него, заявил де Голль, вопрос, действительно ли немцы в этом заинтересованы (он имел в виду границы), остается открытым. Франция в крайнем случае может жить и с разделенной Германией.

* * *

В начале 1965 года, когда я накануне выборов в бундестаг снова побывал в Париже и среди прочего выступил на ассамблее

ЗЕС – того Западноевропейского Союза, участницей которого была и Великобритания, де Голль высказал свое беспокойство по поводу того, что европейцы стали жертвами неверной американской стратегии: используя обычное и так называемое тактическое атомное оружие, они осуществляют «стратегию гибкого устрашения» за счет интересов обеих частей Германии и, вероятно, Франции, которые окажутся пострадавшими. В действительности же необходима решимость Америки нанести тотальный ответный ядерный удар, заявлял де Голль. Мы должны исходить из того, что Советский Союз и США не хотят воевать друг с другом. На тот случай, если дела будут обстоять иначе, Франция создает собственную ядерную оборону. Соответствующее решение было принято еще в 1956 году, когда премьер-министром был социалист Ги Молле.

После того как в декабре 1966 года я принял министерство иностранных дел, моя первая поездка за границу, которую я уже воспринимал как переход к европейскому «пригородному сообщению», привела меня в Париж, где в последний раз заседал Совет НАТО. Тогда де Голль принял меня для беседы с глазу на глаз. Де Голль сказал, что он рад тому, что я стал министром иностранных дел. Он надеется также, что сможет плодотворно сотрудничать с новым федеральным канцлером.

Наше правительственное заявление де Голль нашел интересным и даже ободряющим. Теперь следует подумать, что делать дальше. Франция не предпримет ничего, что могло бы затруднить наше положение. Но не следует преувеличивать значение договора. В первую очередь это документ доброй воли и примирения. Это всегда важно. Между намерениями обеих сторон не существует принципиального различия. Желание немцев воссоединиться известно Франции, и она не только не имеет против этого никаких возражений, а разделяет это желание, исходя из дружеских чувств к Германии, и потому, что только так можно окончательно преодолеть последствия войны. Однако в условиях «холодной войны» к этой цели можно приблизиться лишь в том случае, если не будет намерений вести войну против России, заявил де Голль. Но этого не хотел никто, «даже Германия, и Америка тоже». Следовательно, позиция силы никогда не могла быть настолько внушительной, чтобы, опираясь на нее, добиться германского единства. Необходимо искать другой путь. «Как вы знаете, Франция рекомендует путь европейской разрядки. Именно в германском вопросе не будет никаких подвижек, если отношения между европейскими государствами не будут поставлены на новую основу», – заявил президент.

Разумеется, Франция должна проявлять осторожность. Россия, хотя это очень большая держава, не пошла дальше того, что ей по праву досталось в Ялте. Все говорит за то, что у нее нет агрессивных намерений. Главная забота России – это Китай. Кроме того, ей необходимо развивать собственную страну, а для этого нужна помощь Запада. Она в своем роде миролюбивая страна с сильным тоталитарным режимом, хотя и с ослабевающей идеологией. Франция (т. е. он сам, побывав в июне 1966 года в Советском Союзе. – *В.Б.)* заявила русским, что она приветствует политику германо-советской разрядки. Естественно, это предполагает, что Германия намерена проводить такую политику и что-то делает в этом направлении. Я спросил господина Косыгина: «Когда господин Брандт приедет в Москву – а вы ведь поедете в Москву, – хорошо ли его примут русские?» Косыгин ответил: «Может быть, хорошо».

* * *

Де Голль продолжал: «Если Германия пожелает, Франция поможет ей продвинуться по новому пути (она даже начала кое-что в этом отношении предпринимать). Прежде всего в Москве и в области политики разрядки, в целом она воздержится от всего, что могло бы повредить Германии».

Будучи в России, он также заявил, что не могут существовать вечно два немецких государства – есть только один немецкий народ. Возможно, в один прекрасный день это поймут и русские. Во всяком случае, признание ГДР как государства не входит в намерения Франции. Однако ее позиция в вопросе германских границ «на Востоке и на Юге» останется неизменной. Дружить она хочет только с неимпериалистической Германией. «Нельзя быть другом Германии, если она хочет вернуть себе то, что потеряла в результате войны». «У Германии, – сказал де Голль, – и не будет никакой возможности передвинуть границу на восток, так как сегодняшнюю Россию не сравнить с тогдашней».

Генерал повторил, что как только Федеративная Республика пожелает улучшить практические контакты с населением в советской зоне оккупации, Франция будет рассматривать подобные попытки как «полезные для всех, и особенно для самих немцев». Он продолжал: «Прежде всего дело в том, чтобы у каждого была своя политика. У Франции должна быть французская политика, и она у нас есть. У Германии должна быть германская политика, и ее создание зависит от самой Германии. Французская, или германская, или английская политика, которая

была бы американской политикой, – это нехорошая политика». «При этом, – говорил он, – Франция ни в коей мере не выступает против Америки, она друг Америки. Однако для Европы нет ничего хуже, чем американская гегемония, при которой Европа угасает и которая мешает европейцам быть самими собой. Американская гегемония мешает европейцам верить в самих себя».

Нет сомнения, что де Голль добивался большего, чем просто предотвращения конфликтов, что соответствовало моей концепции «урегулированного сосуществования», того сосуществования, которое должно было стать совместным существованием. Самый гордый среди гордых французов считал, что германский вопрос имеет историческое значение и должен быть «проверен, урегулирован и гарантирован» перед лицом народов Европы. Вашингтон и Париж, как казалось, были едины в том плане, что имели в виду добиться сначала европейского, а затем немецкого единства – именно в такой последовательности.

Я не преминул заметить, что немцам положение вещей представляется более запутанным, чем ответственным лицам в Париже и в Вашингтоне, хотя и согласился с тем, что агрессия русских, по расчетам немцев, также исключена. После того как де Голль несколько раз упомянул и Австрию, я буквально был вынужден заявить, что в Германии нет ни одного ответственного политика, который бы думал о новом «аншлюсе». Де Голль заметил: то, что мы собираемся делать, ему кажется разумным, хотя в том, что касается изменения психологических факторов, мы чересчур осторожны.

После нескольких обстоятельных бесед, которые я в течение ряда лет имел с самим генералом и его ближайшими сотрудниками, для меня не было неожиданностью, что мы достигли с французской стороной хорошего взаимопонимания в вопросах «восточной политики». Мне врезалось в память сравнение с кладоискателями, которое де Голль летом 1967 года во время своего предпоследнего визита в Бонн интерпретировал следующим образом: он надеется, что Германия и Франция вместе откопают клад, представляющий собой политику, которая преодолеет раскол Европы.

ВОПРОС О РАКЕТАХ. БРЕЖНЕВ И АНДРОПОВ

Оглядываясь назад, видишь, что спор о ядерных ракетах средней дальности в Европе выглядит гротескно. Однако он содержит в себе ценный урок, показывая, как сложные вещи с помощью простых, даже демагогически упрощенных формул с той и другой стороны делаются еще сложней. Для Гельмута Шмидта и его правительства этот спор явился тяжелым бременем не только в международном плане. Не ясна была позиция союзников. В собственной стране значительная часть общественности чувствовала себя неспособной разобраться в происходящем. Антивоенное движение становилось массовым. В нашей партии проходили бурные дискуссии.

Советский Союз, установив свои ракеты с тремя боеголовками и радиусом действия до пяти тысяч километров, известные на Западе как СС-20, достиг в одной из важных областей опасной черты сверхвооружения. Этого почти никто не оспаривал. То, что американцы не остались в долгу, вызывало противоположные толки. В обеих правительственных партиях не существовало единого мнения о том, как на это должен реагировать Запад и можно ли решить проблему путем довооружения, тем более на немецкой земле. Однако почва для сомнений существовала, в первую очередь вне партий. Вначале 80-х годов мы пережили в Федеративной Республике самые крупные за весь послевоенный период демонстрации протеста против гонки вооружений. Я знал, что большая часть немецкой молодежи выходила на улицу, выступая не только за мир, но и за менее благородные цели. Их упрекали в оторванности от действительности, поскольку они с трудом понимали аргументацию унаследованной военно-политической логики. Их позиция определялась преимущественно не пацифистскими принципами и уж тем более не влиянием восточной пропаганды. Молодежное движение столкнулось с коалицией, которую вряд ли кто считал способной пережить следующие выборы.

Осенью 1981 года я попытался, в частности в беседе с госсекретарем Хейгом, убедить американское правительство в том, что было бы ошибочно «рассматривать движение сторонников мира как антиамериканское, нейтралистское или направленное против собственного правительства». В свое время я предостерегал Брежнева от заблуждения расценивать массовый протест молодежи чуть ли не как прокоммунистическое

движение.

Правительство Шмидта – Геншера осенью 1982 года развалилось не потому, что в споре о ракетах федеральный канцлер якобы оказался брошенным на произвол судьбы собственной партией. Руководство свободных демократов считало, что в следующем раунде больше не будет социал-либерального большинства, а вместе с этим и его участия в руководимом СДПГ правительстве. Стало чрезвычайно трудно согласовывать федеральный бюджет и принимать меры, направленные на сдерживание безработицы. Переговоры о создании коалиции превратились в провинциальный фарс. Эта игра в прятки производила удручающее впечатление. Штраус и его приверженцы, которые были заинтересованы в культивировании, а иногда и в изобретении противоречий между Шмидтом и его партией, не оставили ни малейшего сомнения в том, что социал-либеральная коалиция в 1982 году потерпела неудачу из-за экономической и социальной политики.

Еще более нелепым, чем подобное толкование внутриполитических событий, было предположение, что Запад своим довооружением преподнес Советскому Союзу «рождественский подарок»– новое руководство. Разумеется, необходимость в новом руководстве была вызвана массой внутриполитических проблем. Утверждение, что путь Михаила Горбачева наверх в начале 1985 года явился результатом решения НАТО от декабря 1979 года всего лишь несерьезное предположение. Когда новый Генеральный секретарь занял свой пост, Советский Союз, по общему мнению, имел более 350 ракет СС-20, две трети из которых были нацелены на Европу. Для Горбачева это с самого начала было скорее бременем, чем гарантией безопасности. Поэтому он добивался возобновления прерванных переговоров. В лице американского президента Рейгана он нашел партнера, оказавшегося достаточно гибким, чтобы, в свою очередь, круто повернуть руль и вступить на новый путь в области политики безопасности. Демонтаж ракет средней дальности наземного базирования в Европе уже потому расценивался так высоко, что этого вообще никто не ожидал. Достигнутое соглашение по ракетам средней дальности мало было связано с решениями боннского правительства и брюссельской сессии НАТО.

* * *

У Гельмута Шмидта имелись веские основания для

беспокойства в связи с советскими – потенциально наступательными – вооружениями вообще и новыми ракетами в частности. Шмидт делал ставку на переговоры, которые должны были привести к максимальной стабильности при минимальном уровне вооружений. Таким образом, это соответствовало политике, разработанной нами вместе с Фритцем Эрлером и другими членами правительства в 60-е годы. Его расстраивало и обижало то, что в Вашингтоне, после того как в Белом доме Джимми Картер сменил Джеральда Форда, его опасения не принимались всерьез. Картеровский «профессор по безопасности» Збигнев Бжезинский и уверенный в себе глава боннского правительства не воспринимали друг друга и не утруждали себя скрывать это. В то, что эти разногласия в конце концов кончатся «нулевым вариантом», почти никто не верил, даже те, кто стремился к такому решению. Шмидт и я независимо друг от друга часто говорили о «нулевом варианте». Так же, впрочем, как некоторые его и мои британские друзья. Так же, как Франсуа Миттеран, прежде чем он стал президентом: «Никаких СС-20, никаких „Першингов-2“». Великий «мастер по наведению мостов» совершил в США исторический прорыв, когда он стал доверять своему инстинкту и советам жены больше, чем обременительным фактам и заключениям экспертов.

У меня, правда, были большие сомнения относительно того, не заходит ли глава немецкого правительства слишком далеко, беря на себя всю ответственность в решении стратегического вопроса между Востоком и Западом. Можно было предположить, что никто не будет вымаливать у немцев рецептов решения этой задачи. Тем более в той области, где великие державы (в том числе и те, кого именуют так «ради почета») считали нужным оградить себя от непрошеных советчиков. В качестве ответного хода предлагалось рассмотреть вопрос о размещении в Европе американского ядерного оружия, которое в крайнем случае могло бы с территории Федеративной Республики за несколько минут поразить цели в Советском Союзе. Технические особенности нового оружия получили эмоционально-политическую окраску и с точки зрения русских должны были драматизировать ситуацию. Москва видела в ракетах «Першинг-2» значительно большую угрозу, чем в технике, которую предстояло заменить. А кое-кто из немцев, помня прошлую войну, был того же мнения.

То у одного, то у другого из нас возникали все новые вопросы. К чему мы придем, если распространим теорию равновесия на регионы и лишим ее содержания? Как это будет соотноситься с евростратегическим равновесием, о котором шла речь? Не будет ли это вопреки желанию воспринято как шаг

навстречу тем кругам в США, которые ради снижения риска глобальной конфронтации и разрушения своей страны пытаются ограничить атомную войну (если уж ее не удастся избежать) рамками Европы? А с другой стороны, не преувеличивается ли опасность политического шантажа с помощью нового оружия? Мы выстояли в кризисах вокруг Берлина потому, что политическая воля была сильнее, чем материальная мощь противной стороны.

В этом заключался решающий вопрос: одни придавали роли вооружений и связанных с ними моделями мышления большее значение, чем другие. И одни старались показать, особенно когда речь шла о военных делах, что они убеждены в правоте своего дела, в то время как другие не скрывали серьезных сомнений. Я не относил унаследованные геополитические представления вообще и уверенность в русско-советских экспансионистских устремлениях в частности к категории вечных величин. Однако вступление Советской Армии в Афганистан в том самом декабре 1979 года, когда НАТО приняла свое «двойное решение», казалось, доказало, что пессимисты были правы. Разумеется, решение протянуть руки на Юг далеко не в первую очередь было вызвано конфликтом между Востоком и Западом. Но, во всяком случае, оно было чревато далеко идущими последствиями и вызывало большое беспокойство.

* * *

Я не был сторонником геополитических упрощений. Еще в бытность федерального канцлера, а тем более впоследствии, я не находил логику устрашения и сильно колеблющегося равновесия столь уж оправданной. Гонка вооружений не будет прекращена, а опасность глобальной катастрофы – после колоссального расточительства ресурсов – станет еще более вероятной. Где же здесь логика?

Американцы и Советы при подписании в 1972 году в Москве первого соглашения об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) вынесли за скобки так называемые евростратегические вооружения обеих мировых держав, равно как и ядерные вооруженные силы французов и британцев. Термин «стратегические» в данном случае относился только к межконтинентальным ракетам.

Вопрос об оставленных в стороне ракетах возник вновь, когда президент Форд и госсекретарь Киссинджер встретились в конце 1974 года во Владивостоке с Брежневым и Громыко и разработали основы соглашения по ОСВ-2. Когда Форд в июле 1975 года

прибыл в Бонн, он сообщил федеральному канцлеру, что во Владивостоке было достигнуто согласие по многим вопросам, но только не по вопросу будущего евростратегических вооружений. Однако президент пообещал немецкому союзнику добиться включения советских ракет средней дальности в повестку дня переговоров об ОСВ-2. Федеральный канцлер еще осенью 1974 года сказал Брежневу, что его беспокоят планы дальнейшего производства ракет СС-20. Генеральный секретарь в ответ на это указал на превосходство американских военно-воздушных сил.

У Гельмута Шмидта после прорыва с ОСВ-2 возникло еще одно соображение: былое превосходство США по межконтинентальным вооружениям, уравновешивавшее дефицит по евростратегическим ракетам, ушло в прошлое. Впрочем, федеральный канцлер не рассчитывал на то, что в конце 1976 года преемником Форда будет избран Картер, а его помощник по вопросам безопасности не обратит почти никакого внимания на аргументы и предупреждения немцев. Картер не сумел разглядеть качественно новую опасность. Он считал, что довооружение как ответ на СС-20 с военной точки зрения излишне и нанесет ущерб американским интересам. Кроме того, он опасался, что это окажет отрицательное влияние на процесс контроля над стратегическими вооружениями. Указание канцлера на то, что ракеты, направленные на Германию, могут быть перенацелены на страны, находящиеся за пределами Европы, также не произвело впечатления. Профессор Бжезинский, по крайней мере, дважды ставил его на место: «Этот немец занимается делами, которые никоим образом не касаются главы правительства неядерного государства». Вашингтонские зубоскалы сравнивали Шмидта с сенатором Джоном Кеннеди, который, решив стать президентом, изобрел проблему отставания США в американских ядерных вооружениях, которого, как выяснилось позже, не было. Но что бы ни говорили зубоскалы, тот факт, что в советско-американских арсеналах имелась «серая зона», которая не обсуждалась на переговорах по ОСВ и не подлежала обсуждению на венских переговорах о сокращении войск и вооружений, не мог удовлетворить никого, кто серьезно относился к вопросам европейской безопасности.

Госсекретарь Сайрус Вэнс, доступный для немецких друзей Америки представитель истеблишмента Восточного побережья США, несколько лет спустя раскрыл секрет: Вашингтон надеялся на то, что удастся без огласки обсудить все эти вопросы и подготовить исследование о ядерных потребностях НАТО после 70-х годов, но после «речи Шмидта» это стало невозможным. Он имел в виду ту лондонскую речь в октябре 1977 года, темой

которой было отсутствие паритета в «области тактических ядерных и обычных вооружений».

* * *

Прошел еще год, прежде чем от Картера последовало приглашение на своеобразное совещание «четверки». В начале января 1979 года он встретился на Гваделупе с президентом Франции, британским премьер-министром и германским федеральным канцлером. После того как Вашингтон летом 1978 года сделал поворот в сторону «модернизации» и соответствующие отрасли промышленности получили основание для развертывания производства, президент США согласился с соображениями, которые он прежде отвергал. Он сообщил, что США готовы к размещению «Першингов» и крылатых ракет «для уравновешивания сил». Каллагэн посоветовал для начала предложить Советскому Союзу вступить в переговоры. Жискар д \'Эстен предложил предупредить русских, что американское оружие будет размещено, если на переговорах по истечению определенного времени не будет достигнут конкретный результат. Это предложение было одобрено.

Федеральный канцлер с полным основанием настаивал на том, чтобы размещению предшествовало совместное решение НАТО, а соответствующие вооружения оставались исключительно под контролем Соединенных Штатов. Они ни в коем случае не должны были размещаться только на территории Федеративной Республики.

Совет НАТО принял соответствующее решение в середине декабря 1979 года в Брюсселе. Модель совещания «четверки» на Гваделупе не нашла продолжения. Противоречия между техническими возможностями и политическими намерениями не делали чести Вашингтону. Кроме того, слишком много шумели те, кто мало думал о противовесе ракетам СС-20, а хотел получить на немецкой земле право дополнительного выбора. Несмотря на Гваделупу, Картер, находясь в июне 1979 года (через шесть месяцев после встречи «четверки») в Вене по случаю подписания соглашения ОСВ-2, не затронул тему ракет СС-20. В ведомстве канцлера вроде бы стало известно, что человек из Джорджии сказал Брежневу по этому поводу несколько слов в лифте.

Итак, в декабре 1979 года было принято так называемое «двойное решение»: если предложенные Советскому Союзу переговоры в течение четырех лет не дадут результата, то в

Европе будут размещены 108 ракет «Першинг-2» и 464 крылатые ракеты, причем считавшиеся наиболее совершенными новые «Першинги» должны были размещаться исключительно на территории Федеративной Республики. Не в последнюю очередь немецкая сторона еще раньше ставила вопрос о размещении если не исключительно, то, по крайней мере, преимущественно ракет морского базирования. Но от этого предложения отказались в силу дороговизны и их недостаточной точности.

Нельзя сказать, что Гельмут Шмидт был недоволен «двойным решением»: переговоры, а при необходимости – довооружение. Решение нашей партии от декабря 1979 года с обязательным условием – отказ от размещения в том случае, если на переговорах наметится прогресс, – не обременило его. Шмидт учитывал то, что в 80-е годы усилится «бряцание ракетами средней дальности»; его тревожила перспектива, что «Брежнев и его команда» к этому времени по «биологическим» причинам окажутся не у дел. Несмотря на все прочие различия, он считал, что Генеральный секретарь в Москве понимает его лучше, чем хозяин Белого дома. Однако формулы, выработанные во время визита Брежнева в Федеративную Республику в 1978 году (я сам встретился с ним в Бонне и у Шмидтов в Гамбурге), ни к чему не обязывали: мол, важно, чтобы «никто не стремился к военному превосходству» и чтобы были достигнуты «примерное равновесие и паритет». Все же обе стороны занялись количественным сопоставлением вооружений.

Гельмут Шмидт посетил Москву спустя полгода после принятия «двойного решения». Советское руководство пересмотрело свое опрометчивое решение, означавшее категорический отказ от переговоров. Теперь Советы согласились сесть за один стол с американцами. Я советовал им это еще до того, как НАТО приняла решение, и в середине ноября 1979 года с прямого согласия федерального канцлера написал об этом Брежневу. Я не скрывал своей озабоченности новым витком гонки вооружений и настаивал на том, чтобы трех-четырехлетний период времени, отпущенный западным союзом для переговоров, был использован. У меня сложилось впечатление, что в Москве в этих вопросах последнее слово было за генеральным штабом. Судя по информации из Центрального Комитета, которая иногда случайно доходила до меня, Москва не хотела дать втянуть себя в новую конфронтацию и содействовать разрушению разрядки. Что бы я ни думал о сообщениях подобного рода, интерес, скрывавшийся за ними, казалось, заслуживал внимания.

* * *

С конца 1980 года возобновился диалог между Москвой и Вашингтоном. Перед летними каникулами в 1981 году я после шестилетнего перерыва вновь побывал в Советском Союзе, где принял участие в оживленной дискуссии в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук.

Я встретил Брежнева в плачевном состоянии. Ему стоило труда просто зачитать текст как во время переговоров, так и за столом. За обедом он только ковырял вилкой в какой-то закуске.

Он несколько оживился, когда заехал за мной в резиденцию для гостей на Ленинских горах, чтобы проводить на аэродром. Перед этим за рюмкой крепкого напитка, который врачи ему уже давно запретили, между нами опять зашел разговор о ракетах. Брежнев хотел знать, как я себе представляю в действительности «нулевое решение». Где он может встретиться с американцами, чтобы обсудить этот вопрос? Считаю ли я, что с этим президентом вообще можно о чем-то договориться? За Рейгана замолвил словечко Борис Пономарев, еще со времен Сталина работавший в международном отделе ЦК КПСС. Как глава делегации Верховного Совета, он посетил Рейгана в Сакраменто, когда он был еще губернатором Калифорнии, и его открытость и скромность произвели на всех членов делегации хорошее впечатление.

В застольной речи Брежнева 30 июня 1981 года говорилось, что СССР готов «приостановить дислокацию своих ракет средней дальности в европейской части страны в тот день, когда начнутся переговоры по существу вопроса», при условии, что США поступят так же. На это я ответил: «Я уже Вам говорил и хочу это здесь подтвердить: мы за переговоры, цель которых будет состоять в том, чтобы, проводя корректировку арсеналов имеющихся вооружений, сделать ненужным довооружение».

Перед своей поездкой в начале мая 1981 года я получил из Центрального Комитета КПСС письмо без даты, в котором шла речь о том, что «на советско-западногерманские отношения упала тень» от ракет, которые могут достичь советской территории и «спровоцировать войну против Советского Союза». В Кремле я на это возразил: «Можно понять, что Советский Союз воспринимает новое оружие как угрозу. Но и мы видим в ракетах СС-20 угрозу для нас. Взаимную угрозу следует как можно скорее устранить путем переговоров».

С обеих сторон лед еще не тронулся, пока не тронулся в какой-то степени и из-за того, что в Бонне над проблемой тоже трудились умники. Один переутомленный представитель правительства считал, что оказывает своему шефу услугу, поучая меня. Это не помогало ни делу, ни правительству.

На американо-советских переговорах, наконец-то начавшихся в ноябре 1981 года в Женеве, долгое время не было заметно признаков прогресса. Советы были малоподвижны, а американцы почти все сводили к риторике. Многие считали, что Рейган предложил «нулевой вариант», будучи уверенным в том, что Советы на это все равно не пойдут. В начале марта 1982 года Брежнев сообщил мне, что Советский Союз против «нулевого решения». Я объяснил ему в середине того же месяца, почему я считаю, что американское предложение будет способствовать прогрессу на переговорах.

* * *

В июле 1982 года руководители делегаций совершили свою знаменитую «лесную прогулку», наметили компромисс, но командные центры в обеих столицах дали отбой. Федеральный канцлер даже не был поставлен надлежащим образом в известность, не говоря уже о том, что с ним не проконсультировались. Это должно было его озлобить. Что касается предмета переговоров, то Женева была обречена на неудачу. Смертельно больной преемник Брежнева Андропов, дело которого предстояло продолжить Горбачеву, слишком поздно (осенью 1982 года) попытался вызвать какое-то движение. Его предложение было направлено на установление «равновесия» по отношению к британо-французскому ядерному потенциалу. Следовало принять к сведению, что от него и его военных нельзя было ожидать большего. В сентябре 1983 года Андропов написал мне о контрмерах, которые будут предприняты, если Федеративная Республика «превратится в плацдарм для американских ракет первого удара».

В ответном письме от 22 сентября 1983 года я был вынужден напомнить ему о том, что Советскому Союзу нужно со своей стороны что-то предпринять: «Проявите инициативу!.. Ничто не может дать усилиям, направленным на недопущение новых американских ракет, более лучшей перспективы на успех, чем такой драматический и односторонний шаг Советского Союза, который, если американские ракеты тем не менее будут размещены, может быть также в одностороннем порядке отменен. Такой вклад может внести только Советский Союз, и никто другой. Я знаю, что на это нелегко решиться, но он полностью обеспечит интересы безопасности вашей страны». То, что мы высказали свое мнение по этим вопросам не только Вашингтону, но и Москве, «несомненно является результатом развития

отношений на основе Московского договора, без которого подобное было бы просто невозможно».

22 сентября 1983 года в соответствии с решением НАТО началось размещение ракет «Першинг-2». День спустя Советы ушли из-за стола переговоров в Женеве. Резолюции, протесты, сидячие блокады окончились ничем, и нам пришлось наблюдать, как в западной части Советского Союза вновь устанавливается «тактическое» ядерное оружие. Оно должно было, если этого потребует ситуация, вывести из строя ракетные базы на территории Федеративной Республики.

Лишь в начале 1985 года министры иностранных дел мировых ядерных держав вновь сели за стол переговоров и возобновили обсуждение щекотливой темы. В апреле, сразу после того как Горбачев пришел к руководству, он объявил, что размещение будет приостановлено. Осенью года он и Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике, воспринятой всеми как сенсация, чуть было не совершили прорыв в этом направлении. В конце года в Вашингтоне было подписано соглашение по ракетам средней и ближней дальности.

ВТОРАЯ СМЕРТЬ СТАЛИНА

Об ответственном партийном секретаре по фамилии Горбачев я еще в последние годы жизни Брежнева ничего не слышал. Потом я случайно узнал, что его продвинул Андропов, этот стремившийся к обновлению бывший шеф секретной службы, который, будучи тяжело больным, занял пост Генерального секретаря.

Когда я первый раз посетил Михаила Сергеевича Горбачева в мае 1985 года, как раз исполнилось два месяца со дня его вступления на свой пост. Кто только с тех пор не считал себя вправе высказываться об этом человеке? Какой он деятельный или какой опасный, сколько от него исходит обаяния или сколько в нем сидит лукавства. Приз за наименее компетентную и наименее полезную оценку этой личности достался главе германского правительства. Особенно глупым было предположение, что новое руководство пришло к власти вследствие жесткого курса Запада. Столь же безрассудным было желание, чтобы это руководство потерпело неудачу в проведении новой программы открытости и перестройки, так как в противном случае Советский Союз станет-де еще более опасным. Опять было сказано, что нужно заставить их «вооружаться до смерти». Историческая заслуга Рейгана состояла в том, что он на это не пошел.

В лице Горбачева я еще во время нашей первой встречи в 1985 году нашел необычайно компетентного, разбирающегося в проблемах, целеустремленного и в то же время гибкого собеседника. Вечный спор о роли личности в истории получил новую и притом особенно яркую окраску. Посвященные не сомневались в том, что в его манере аргументации отразилось многое из того, что в течение многих лет он и его жена неоднократно мысленно проигрывали. Однако даже знатоки советской действительности не подозревали, насколько глубокие изменения произойдут во внутренней и внешней политике.

Характерным для нового внешнеполитического курса была готовность к серьезным переговорам. Это распространялось на ограничение как ядерных, так и обычных вооружений. От экспансионистского курса вне Европы отказались столь же решительно, как и от доктрины Брежнева, нашедшей такое страшное воплощение в 1968 году в Праге и резко осложнившей обстановку в Восточной Европе.

С другой стороны, с удовлетворением отмечалась готовность оказывать содействие в урегулировании конфликтов в других

частях света, например в районе Персидского залива и на Юге Африки, в Камбодже и в Центральной Америке. В разговоре с глазу на глаз во время посещения Кремля в мае 1985 года я спросил Горбачева, действительно ли он собирается вскоре уйти из Афганистана. Он ответил: «Да, если американцы нас выпустят».

* * *

Во время нашей следующей встречи в 1988 году я попросил объяснить поподробнее, как вообще мыслится перестройка? Прежде чем ответить, он сделал столь же потрясающее, сколь и откровенное признание: очень трудно наполнить содержанием лозунг «Больше демократии, больше социализма». Административно-командная система прошлого не действует и обернулась против людей и трудовых коллективов. Необходимо привести в действие потенциальные силы общества и выбросить за борт унаследованные стереотипы. Это звучало более убедительно, чем упорное требование: «Никаких решений вне социализма! Никакой смены идейных знамен. Мы родились при социализме, живем в нем и не знаем ничего другого». Социализм, который, по его утверждению, якобы существует в отрыве от основных предпосылок личной и политической свободы, должен освободиться от всех деформаций. После смерти Сталина Хрущев решительно взялся за дело, но «часто останавливался на полпути». При Брежневе ничто не сдвинулось с места. Поэтому теперь необходима демократизация «при участии всего народа». Главное в перестройке – это «изменение всего нашего мышления», что, как известно, легче сказать, чем сделать.

Он был согласен с тем, что социализм без демократии не действует, и это было не только второй смертью Сталина. Он не хотел этим сказать, что новое руководство готово примириться с существованием более чем одной партии. Вместо этого было сказано, что демократию нужно проводить в рамках партии, которая должна делить власть с общественными организациями. Он обещал своим согражданам и пытался объяснить функционерам, что не должно быть никаких ограничений научных исследований. Вопросы теории не могут и не должны решаться путем администрирования. «Необходимо свободное соревнование умов».

В тех случаях, когда от него ждали реакцию на развитие различных событий в странах «блока», он высказывался подчеркнуто осторожно. Для иллюзий он не оставлял много

места. Как он сказал, ему не хотелось бы категорически утверждать, что на периферии плюрализму должно быть предоставлено больше свободного пространства, даже если это поставит под угрозу монополию партии. В то же время он недвусмысленно дал понять, что заинтересован в том, чтобы его страна на и без того изнурительном пути не была еще отягощена заботами «блока». Позднее он якобы сказал: «Пусть они сами разбираются, мы не будем вмешиваться»…

Кто был за Михаила Сергеевича Горбачева и кто против? Его основная опора – это интеллигенция, ученые, деятели искусства, молодые работники партийного аппарата и государственного управления, сознающие необходимость реформ. «Трудящиеся», в массе своей, выжидали, а то и роптали, тем более что положение со снабжением скорее ухудшилось, чем улучшилось, а борьба с алкоголизмом – объективно необходимая – воспринималась как бесполезное занятие.

Военное руководство, демонстрируя свою лояльность, действовало искренне: у него были свои интересы в обновлении экономики. Брежнев за несколько недель до смерти созвал видных представителей вооруженных сил и сообщил им, что растущие военные расходы вступили в конфликт с реальными экономическими прибылями.

Перенес ли КГБ – орган, ведающий вопросами государственной безопасности, – уважение к своему бывшему шефу Юрию Андропову на Горбачева или отстранился от него, для постороннего наблюдателя осталось неизвестным.

Горбачев не скрывал, что в рядах бюрократии растут недовольство и несогласие. Мне было неясно, удастся ли преодолеть это сопротивление, а если да, то каким образом. Но я ни секунды не сомневался в том, что мы должны желать всяческого успеха реформам и реформатору.

Я был глубоко взволнован, когда в апреле 1988 года, едва приехав, услышал о реабилитации и Карла Радека, того самого польского коммуниста с частично немецким происхождением, который на одном из сталинских процессов избежал смертного приговора, но затем погиб в лагере.

Глубоко взволновало меня также известие, что шесть тысяч лежавших в спецхранах книг снова предоставлены в распоряжение историков. Официальное восстановление чести и достоинства жертв террора и беспощадное разоблачение того, что пришлось пережить при сталинском режиме немецким и другим эмигрантам, я нашел в высшей степени достойным одобрения, и не в последнюю очередь из-за их семей.

Горбачев в 1987 году, идя гораздо дальше Хрущева, назвал те

«настоящие преступления», жертвами которых стали тысячи советских людей. Вина Сталина и его окружения огромна и непростительна, сказал он, «это, товарищи, горькая правда». Горькой в большинстве случаев бывает правда, которую не все хотят слышать. Однако значение того, что сделало новое московское руководство для нравственности в Советском Союзе и у его союзников, вряд ли можно переоценить.

* * *

Разговор с глазу на глаз во время визита в мае 1985 года мне особенно запомнился той откровенностью, с которой Горбачев отвечал на вопросы, по привычке называемые «гуманитарными». Я сказал, что на этот раз у меня три папки, полные петиций. Он кивнул. В первой папке, сказал я, дела лиц немецкого происхождения, ходатайствующих о воссоединении семей; некоторые просьбы уже удовлетворены. Он снова кивнул.

Вторая папка, сказал я, содержит дела советских граждан, оказавшихся в тяжелом положении. У нас их называют диссидентами. Он опять кивнул.

В третьей папке, сказал я, лежат просьбы о выезде евреев; родственники, живущие у нас и в Израиле, а также из Советского Союза прислали мне письма. Когда я в последний раз в Москве решился изложить подобные дела, меня довольно резко отчитали. Брежнев в 1981 году: «Я знаю, что у вас много должностей, но не пытайтесь убедить меня в том, что вы стали еще президентом Всемирного еврейского конгресса вместо Наума Гольдмана». Иначе Горбачев: «Кого вы уполномочите обсудить завтра в первой половине дня все эти дела с выделенным мной человеком?» Так оно и случилось, и наши сотрудники смогли помочь урегулированию многих дел, связанных с правами человека, прежде чем улучшилось общее положение.

Кто может сегодня измерить всю важность тех событий, когда были освобождены жертвы произвола, когда можно было посетить Андрея Сахарова в его московской квартире, когда укрепились правовая безопасность, а также свобода мнений и вероисповедания, когда состоялись демократические выборы, какими бы несовершенными они ни были, когда можно было открыто говорить о масштабах террора и лжи, выходящих далеко за пределы нормального понимания.

Хорошим признаком нормализации было то, что рассказал мне в 1988 году один почтенный публицист. Его взрослая дочь спросила: «Отец, ведь ты не мог не знать о преступлениях, о

которых теперь так много пишут? Почему же ты мне ничего об этом не говорил?..»

Не случайно, Джордж Кеннан, большой знаток американо-русских отношений, был готов поставить свою подпись под заявлением, что «гнилой радикализм сталинского угнетения» принадлежит прошлому.

Г. Киссинджер КРАХ «ДОКТРИНЫ БРЕЖНЕВА» (Из книги Г. Киссинджера «Дипломатия»)

«КИТАЙСКАЯ КАРТА» ПРОТИВ БРЕЖНЕВА

Один из элементарных уроков для начинающих шахматистов гласит: при выборе хода нет ничего хуже, чем не сделать предварительного подсчета клеток, попадающих под контроль при каждом из потенциальных ходов. В общем и целом, чем большим числом клеток оперирует игрок, тем шире у него выбор и тем ограниченнее выбор у его оппонента. Точно так же и в дипломатии: чем больше вариантов находится в распоряжении одной из сторон, тем меньше их остается на долю другой стороны и тем более осторожно она должна себя вести, добиваясь собственных целей. И такое положение дел должно со временем стать стимулом для оппонента стремиться к тому, чтобы из оппонентов перейти в союзники.

Если бы Советский Союз больше не мог рассчитывать на постоянную враждебность друг к другу самых могущественных наций мира – США и Китая – пределы советской неуступчивости сузились бы, а может быть, даже вообще бы исчезли. В обстановке конца 60-х годов улучшение китайско-американских отношений становилось для стратегии администрации Никсона применительно к Советскому Союзу ключевым фактором.

Историческое чувство дружбы между Америкой и Китаем разрушилось, когда коммунисты победили в гражданской войне в 1949 году и вступили в войну в Корее в 1950-м. На его место пришла политика преднамеренной изоляции коммунистических правителей в Пекине. Наглядным символом подобного рода умонастроений был отказ Даллеса пожать руку Чжоу Эньлаю на Женевской конференции 1954 года по Индокитаю, и память об этом у китайского премьера вовсе не стерлась, когда тот приветствовал меня в Пекине через семнадцать лет и осведомился, был ли я среди тех американцев, которые отказались пожать руки китайским руководителям. Единственный действующий дипломатический контакт между двумя нациями осуществлялся через соответствующих послов в Варшаве, да и те во время своих нерегулярных встреч обменивались нападками друг на друга. Во время китайской «культурной революции» конца 60 – 70-х годов, число жертв которой сопоставимо со сталинскими чистками, все китайские послы (за исключением, в силу каких-то непостижимых причин, посла в Египте) были отозваны в Китай, что прервало варшавские переговоры и лишило Вашингтон и Пекин каких-либо дипломатических и политических

контактов вообще.

Интересно, что лидерами, впервые осознавшими возможности, проистекающие из китайско-советского разрыва, оказались два ветерана европейской дипломатии: Аденауэр и де Голль. Аденауэр, полагаясь на только что прочитанную им книгу, заговорил об этом где-то в 1957 году, хотя Федеративная Республика была еще не в состоянии вести глобальную политику. Де Голль не ощущал для себя ни малейших ограничений. Он верно вычислил в начале 60-х годов, что у Советов возникают серьезные проблемы на всем протяжении обширной границы с Китаем, и это заставит их в большей степени склоняться к сотрудничеству в своих отношениях с Западом. Будучи де Голлем, он верил, что этот факт позволит ускорить франко-советскую разрядку. С учетом наличия у Москвы китайской проблемы Москва и Париж могли соответственно провести переговоры по устранению «железного занавеса» и добиться осуществления мечты де Голля о «Европе от Атлантики до Урала». Но деголлевская Франция ни в коей мере не обладала достаточной силой для проведения подобной дипломатической революции. Москва не видела в Париже равного партнера для разрядки. Однако хотя политические выводы де Голля были искажены видением через французскую призму, лежащий в основе их анализ отличался точностью. В течение продолжительного времени американские политики, ослепленные идеологическими предвзятостями, так и не могли осознать, что советско-китайский разрыв представлял собою стратегические возможности для Запада.

* * *

Американское общественное мнение относительно Китая в том виде, в каком оно тогда сложилось, оказалось разделенным знакомыми разграничительными линиями «холодной войны». Небольшая группа синологов рассматривала раскол, как психологический; они настаивали на том, чтобы Америка пошла навстречу китайским обидам и предоставила все китайские права в Организации Объединенных Наций Пекину, а также ослабила напряженность посредством широкомасштабных контактов. Абсолютное большинство информированных лиц, однако, считало коммунистический Китай неизлечимо экспансионистским, фанатично идеологизированным и безоговорочно преданным идее мировой революции. Америка в значительной степени пошла на вовлеченность в Индокитае,

чтобы разгромить «коммунистический заговор», устроенный, как она предполагала, Китаем с целью захвата Юго-Восточной Азии. Как ранее применительно к Советскому Союзу, утверждалось, что китайская коммунистическая система обязательно должна трансформироваться, прежде чем с нею можно будет вести переговоры.

Это мнение получило подтверждение из неожиданных источников. Советологи, которые уже на протяжении десятилетия настаивали на постоянном диалоге с Москвой, придерживались совершенно противоположной точки зрения в отношении Китая. Еще в начале первого срока пребывания Никсона на посту президента группа бывших послов в Советском Союзе, обеспокоенная первыми пробными поисками контактов с Пекином, высказала президенту серьезную озабоченность. Советские руководители, настаивали они, были преисполнены такой паранойей по отношению к коммунистическому Китаю, что любая попытка улучшить американские отношения с Пекином повлечет за собой абсолютно неприемлемый риск конфронтации с Советским Союзом.

Администрация Никсона не разделяла подобные взгляды на международные отношения. Исключать такую огромную страну, как Китай, из сферы деятельности американской дипломатии означало бы, что Америка действует на международной арене с одной рукой, завязанной за спиной. Мы были убеждены, что рост многовариантности в американской внешней политике смягчит, а не ужесточит поведение Советов. Политическое заявление, составленное мною для Нельсона Рокфеллера, выдвигавшего свою кандидатуру на пост президента от республиканской партии в 1968 году, гласило: «…Я начну диалог с коммунистическим Китаем. В треугольнике отношений между Вашингтоном, Пекином и Москвой мы найдем для себя возможности урегулирования с каждым оппонентом, поскольку мы расширяем границы выбора применительно к обоим». Никсон высказывал идентичные воззрения еще ранее, но языком, более приспособленным к традиционным американским понятиям относительно мирового сообщества. В октябре 1967 года он писал в журнале «Форин аффэрз»:

«С долгосрочной точки зрения мы просто не можем себе позволить вечно держать Китай вне пределов семьи наций, заставляя его лелеять свои фантазии, вынашивал ненависть и угрожать соседям. Эта планета слишком мала, чтобы один миллиард потенциально наиболее способных людей жил бы на ней в злобной изоляции».

Вскоре после того, как Никсон был выдвинут кандидатом на

пост президента, он стал выражаться более конкретно. В журнальном интервью в сентябре 1968 года он заявил: «Мы не должны забывать про Китай. Следует все время изыскивать возможности для разговора с ним, так же как и с СССР… Мы не можем просто ждать перемен, наша задача – эти перемены осуществить».

По ходу дела Никсону удалось достичь своей цели, хотя для Китая стимулом присоединения к сообществу наций послужили скорее не перспективы диалога с Соединенными Штатами, но страх нападения со стороны мнимого союзника – Советского Союза. Администрация Никсона, поначалу не осознавшая такого аспекта китайско-советских отношений, обратила на это внимание благодаря усилиям самого Советского Союза. Не в первый и не в последний раз неуклюжая советская политика ускорила то, чего Кремль больше всего опасался.

* * *

Весной 1969 года произошла серия столкновений между китайскими и советскими вооруженными силами на отдаленном участке китайско-советской границы вдоль реки Уссури в Сибири. Исходя из опыта истекших двух десятилетий, Вашингтон поначалу не сомневался в том, что эти стычки были спровоцированы фанатичным китайским руководством. Но именно тяжеловесная советская дипломатия заставила в этом усомниться. Ибо советские дипломаты стали предоставлять детальные свидетельства советской версии событий в Вашингтон и заодно спрашивать, как Америка отнесется к тому, если произойдет эскалация этих столкновений.

Беспрецедентная советская готовность консультироваться с Вашингтоном относительно вопроса, по поводу которого Америка не проявила особенной озабоченности, заставила нас задать себе вопрос, не являются ли подобные брифинги зондированием почвы перед советским нападением на Китай. Подозрения только усилились, когда проработка вопроса американской разведкой, на которую ее подтолкнули советские брифинги, показала, что стычки неизменно имели место неподалеку от крупных советских баз военного снабжения и вдали от центров китайских коммуникаций: такого рода схема соответствовала лишь тому, что агрессором на деле были как раз советские вооруженные силы. Новым подтверждением такого вывода послужил факт беспрецедентного сосредоточения советских сил вдоль всей советско-китайской границы протяженностью в 4 000 миль,

численность которых за короткий срок составила свыше сорока дивизий.

Если анализ администрации Никсона был верен, то назревал крупный международный кризис, даже если большинству об этом не было известно. Советское военное вторжение в Китай означало бы самую серьезную угрозу глобальному соотношению сил со времен Кубинского ракетного кризиса. Распространение «доктрины Брежнева» на Китай предполагало бы, что Москва попытается сделать пекинское правительство столь же смиренным и покорным, каким в предшествующем году стало не по своей воле правительство Чехословакии. Наиболее многочисленная из наций мира была бы подобным образом подчинена одной из ядерных сверхдержав – зловещая комбинация! Она привела бы к восстановлению столь опасного китайско-советского блока, монолитный характер которого внушал такой страх в 50-е годы. Способен ли был Советский Союз воплотить на практике подобный проект, до сих пор остается весьма неясным. Однако стало очевидным, особенно для администрации, основывающей свою внешнюю политику на геополитических концепциях, что на такой риск идти нельзя. Если говорить о соотношении сил всерьез, то тогда даже перспектива геополитического переворота должна получить отпор; ибо к тому времени, как перемены действительно произойдут, противодействовать им окажется слишком поздно. Как минимум, стоимость противостояния возрастет в невероятной степени.

Такого рода соображения заставили Никсона принять летом 1969 года два решения чрезвычайного характера. Первое – отказаться от постановки всех тех вопросов, которые являлись содержанием имевшего место китайско-американского диалога. На Варшавских переговорах была разработана повестка дня столь же сложная, сколь и отнимающая время. Каждая из сторон подчеркивала свои обиды: китайские касались будущего Тайваня и китайских активов, секвестированных в Соединенных Штатах; Соединенные Штаты добивались отказа от применения силы в отношении Тайваня, участия Китая в переговорах по контролю над вооружениями и урегулирования американских экономических претензий к Китаю.

Вместо этого Никсон решил сосредоточиться на более широких аспектах китайского подхода к диалогу с Соединенными Штатами. В первую очередь следовало определить объем и контуры китайско-советско-американского треугольника. Если бы стало очевидным, что Советский Союз и Китай больше боятся друг друга, чем Соединенных Штатов, у американской

дипломатии появились бы беспрецедентные возможности. Если на этой основе отношения улучшатся, традиционные вопросы повестки дня решатся сами собой; если же отношения не улучшатся, традиционные вопросы повестки дня так и останутся неразрешенными. Иными словами, практические вопросы будут решены как следствие китайско-американского сближения, а не в качестве его предпосылки.

* * *

Реализуя стратегию превращения мира, основанного на противостоянии двух держав, в стратегический треугольник, Соединенные Штаты предприняли в июле 1969 года серию односторонних инициатив, чем продемонстрировали перемену подхода. Был снят запрет на поездки американцев в Китайскую Народную Республику; американцам было разрешено ввозить в Соединенные Штаты изготовленные в Китае товары на сумму в сто долларов; а также были разрешены ограниченные отгрузки зерна из Америки в Китай. Эти меры, пусть даже незначительные сами по себе, наглядно показывали новаторство подхода Америки к решению накопившихся международных проблем.

Государственный секретарь Уильям П. Роджерс раскрыл суть этих намеков в программной речи, одобренной Никсоном. Он заявил в Австралии 8 августа 1969 года, что Соединенные Штаты приветствовали бы, если бы коммунистический Китай стал играть важную и существенную роль в азиатских и тихоокеанских делах. Если китайские руководители откажутся от интроспективного «видения мира», то Америка «откроет каналы связи». В самом теплом заявлении, сделанном американским государственным секретарем относительно Китая на протяжении двадцати лет, Роджерс привлек внимание к односторонним инициативам, предпринятым Америкой в экономической области, назвав их шагами, предназначенными для того, чтобы «помочь напомнить людям континентального Китая о нашей исторической дружбе с ними».

Но коль скоро имелась реальная опасность советского нападения на Китай летом 1969 года, могло не хватить времени для постепенного развертывания столь сложных маневров. Поэтому Никсон пошел, вероятно, на самый смелый шаг за все время своего пребывания на посту президента и предупредил Советский Союз, что Соединенные Штаты не останутся в стороне, если тот соберется напасть на Китай. Независимо от тогдашнего отношения Китая к Соединенным Штатам, Никсон и его

советники считали независимость Китая обязательной для глобального равновесия сил и полагали наличие дипломатических контактов с Китаем существенно важным для гибкости американской дипломатии. Предупреждение Никсона Советам явилось также наглядным выражением нового подхода администрации, заключавшегося в том, что она стала базировать политику Америки на тщательном анализе национальных интересов.

Озабоченный наращиванием советской военной мощи вдоль китайской границы, Никсон санкционировал твердое, обоюдоострое заявление от 5 сентября 1969 года, гласившее, что Соединенные Штаты «глубоко озабочены» возможностью китайско-советской войны. Заместителю государственного секретаря Эллиоту Ричардсону было поручено обнародовать послание; занимая достаточно высокое в иерархическом плане место, чтобы исключить всякие сомнения в том, что он говорит по уполномочию президента, Ричардсон не был столь заметной фигурой, чтобы его слова воспринимались, как непосредственный вызов Советскому Союзу:

«Мы не стремимся воспользоваться ради собственной выгоды враждебными действиями между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Идеологические разногласия между двумя коммунистическими гигантами нас не касаются. Однако мы не можем не быть глубоко озабочены эскалацией этого спора и превращением его в массированное нарушение международного мира и спокойствия».

Когда страна отказывается от намерения воспользоваться в своих интересах конфликтом между двумя другими сторонами, это означает, что на деле она подает знак, что обладает возможностями это сделать и что каждой из сторон лучше всего позаботиться о нейтралитете. Вдобавок, когда нация выражает «глубокую озабоченность» по поводу возможных обстоятельств военного характера, она этим желает сообщить, что будет содействовать – каким образом, она пока что не указывает – жертве того, что она определит как агрессию. Никсон – уникальная фигура среди американских президентов XX века, ибо он проявил готовность поддержать страну, с которой у Соединенных Штатов на протяжении двадцати лет не было дипломатических отношений. И это при том, что у его администрации пока что не было с Китаем совершенно никаких контактов, и при том, что китайские дипломаты и средства массовой информации клеймили американский «империализм» на каждом шагу. Это означало возврат Америки в мир «Realpolitik».

Чтобы подчеркнуть этот новый подход, важность улучшения отношений между Китаем и Соединенными Штатами особо оговаривалась в каждом из ежегодных президентских докладов по вопросам внешней политики. В феврале 1970 года, еще до того, как возникли прямые контакты между Вашингтоном и Пекином, в докладе содержался призыв к переговорам с Китаем по практическим вопросам и подчеркивалось, что Соединенные Штаты не будут объединяться с Советским Союзом против Китая. Это, конечно, было обратной стороной предупреждения Москве; предполагалось, что подобный выбор всегда имелся в распоряжении Вашингтона, если обстоятельства принудят его сделать. Доклад, представленный в феврале 1971 года, вновь подтвердил готовность Америки установить контакт с Китаем и заверил Китай в отсутствии у Америки враждебных по отношению к нему намерений:

«Мы готовы установить диалог с Пекином. Мы не можем согласиться с его идеологическими аксиомами, а также с утверждением, будто бы коммунистический Китай должен осуществлять гегемонию над всей Азией. Но мы также не желаем ставить Китай в такое положение в международном плане, которое бы препятствовало ему в защите законных национальных интересов».

И вновь в докладе настоятельно утверждался нейтралитет Америки в конфликте между двумя крупнейшими коммунистическими центрами:

«Мы ничего не предпримем, чтобы обострить этот конфликт или его поощрять. Абсурдно предполагать, что мы способны объединиться с одной из сторон против другой…

В то же время мы не можем позволить ни коммунистическому Китаю, ни СССР диктовать нам политику и образ действий по отношению к противоположной стороне… Мы будем судить о Китае, как и об СССР, не по их риторике, а по их действиям».

Демонстративный отказ от объединения с любым из коммунистических гигантов подталкивал каждого из них улучшить отношения с Вашингтоном и являлся предупреждением относительно последствий продолжения враждебных действий. В том смысле, в каком Китай и Советский Союз в состоянии были сделать расчет, что они либо нуждаются в американской доброй воле, либо опасаются американского шага в направлении их противника, у них обоих появлялся стимул к улучшению отношений с Соединенными Штатами. И каждому из них было сказано четко и ясно – ибо все это было написано черным по белому, – что предпосылкой для сближения с Вашингтоном является отказ от угроз жизненно важным американским

интересам.

* * *

Как выяснилось, оказалось легче обрисовать новую структуру отношений с Китаем, чем претворить ее в жизнь. Изоляция в отношении между Америкой и Китаем была до такой степени полной, что ни одна из стран не знала, как вступить в контакт с другой и как убедить другую сторону, что сближение не обернется ловушкой.

Китай испытывал большие трудности, отчасти потому, что дипломатия Пекина была непрямой и до такой степени изобиловала нюансами, что большая их часть просто не воспринималась в Вашингтоне. 1 апреля 1969 года – через два месяца после того, как Никсон принял присягу при вступлении в должность, – в докладе Линь Бяо, китайского министра обороны, который вот-вот должен был быть провозглашен наследником Мао, на IX национальном съезде коммунистической партии впервые не прозвучало стандартное до сих пор утверждение, что Соединенные Штаты являются главным врагом Китая. Линь Бяо назвал Советский Союз, по крайней мере, равной с ними угрозой, и это означало – основополагающая предпосылка дипломатии треугольника была налицо. Линь Бяо также повторил заявление Мао, сделанное в 1965 году в беседе с журналистом Эдгаром Сноу: у Китая не имеется вооруженных сил за рубежом и у него нет намерения воевать с кем бы то ни было, если на его территорию не будет совершено нападение.

Одной из причин, почему на сигналы Мао реакции не последовало, была существенная переоценка Китаем значения личности Эдгара Сноу в Америке. Сноу, американский журналист, издавна симпатизировавший китайским коммунистам, считался пекинскими лидерами лицом, пользующимся особым доверием в Соединенных Штатах в отношении китайского вопроса. Вашингтон, однако, воспринимал его как орудие коммунистов и не был готов доверять ему свои тайны. Жест Мао, поместившего Сноу рядом с собой на трибуне парада по случаю китайского Дня независимости в октябре 1970 года, пропал для нас втуне. Точно то же произошло с интервью, полученным Сноу от Мао в декабре 1970 года, когда тот пригласил Никсона посетить Китай либо в качестве туриста, либо – президента Америки. Хотя Мао распорядился, чтобы его переводчик сверил записи со Сноу (чтобы удостовериться в точности передачи), Вашингтон так и не узнал об этом

приглашении до того момента, когда вопрос, связанный с визитом Никсона, уже через несколько месяцев после этого был урегулирован по другим каналам. А пока что в декабре 1969 года в Варшаве возобновились контакты между Соединенными Штатами и Китаем. Они оказались не более удовлетворительными, чем в прошлом. Никсон проинструктировал Уолтера Стессела, исключительно способного и скрытного американского посла в Варшаве, обратиться к китайскому поверенному в делах на первом же протокольном мероприятии, куда будут приглашены оба, и попросить его о возобновлении переговоров на уровне послов. Такая возможность предоставилась Стесселу 3 декабря 1969 года при довольно необычных обстоятельствах: на показе югославской моды в варшавском Дворце культуры. Китайский поверенный в делах, не имеющий абсолютно никаких инструкций на случай обращения к нему американского дипломата, поначалу просто убежал. И только тогда, когда Стессел в прямом смысле загнал в угол его переводчика, он смог передать сообщение. К 11 декабря поверенный в делах, однако, уже получил инструкции, как вести себя с американцами, и пригласил Стессела в китайское посольство для возобновления давно начатых варшавских переговоров.

И почти сразу же они зашли в тупик. Повестка дня, включавшая в себя стандартные вопросы каждой из сторон, не оставляла места для рассмотрения подспудных геополитических проблем, которые, с точки зрения Никсона – и, как выяснилось, Мао и Чжоу, – должны были определить будущее китайско-американских отношений. Более того, эти вопросы вентилировались американской стороной посредством громоздких консультаций с Конгрессом и основными союзниками, а это значило, что решение поставленной задачи окажется долгим и мучительным. А в итоге – еще неизвестно, не будет ли наложено на достигнутое множество разных вето!

* * *

Результатом переговоров в Варшаве явилось то, что они породили гораздо больше споров внутри правительства Соединенных Штатов, чем на встречах сторон. Мы с Никсоном испытали своего рода чувство облегчения, когда узнали, что Китай прерывает переговоры на уровне послов в знак протеста против американского удара по лагерям в Камбодже в мае 1970 года. С тех пор обе стороны стали искать более подходящий

канал. Эту потребность затем удовлетворило пакистанское правительство. Кульминацией этих контактов, происходивших в ускоренном темпе, явилась моя тайная поездка в Пекин в июле 1971 года.

Я еще не встречал таких собеседников, которые были бы столь восприимчивы к никсоновскому стилю дипломатии, как китайские руководители. Как и Никсон, они считали традиционные вопросы повестки дня делом второстепенным, и прежде всего их заботило выяснение того, возможно ли сотрудничество на базе согласования интересов. Вот почему позднее одним из первых замечаний Мао, адресованных Никсону, было: «Маленьким вопросом является Тайвань; большим вопросом является весь мир».

А конкретно китайские руководители хотели получить заверения в том, что Америка не будет сотрудничать с Кремлем в деле реализации «доктрины Брежнева»; Никсон же желал знать, до какой степени Китай сможет сотрудничать с Америкой в области противодействия советской геополитической угрозе. Цели каждой из сторон были, по существу, концептуальны, хотя рано или поздно каждая из них должна была адекватно претвориться в дипломатическую практику. Ощущение наличия взаимных интересов должно было родиться из убедительности представления каждой из сторон своего видения мира – задачи, для которой в высшей степени годился Никсон. По этой причине ранние стадии китайско-американского диалога концентрировали свое внимание на сопоставлении концепций и фундаментальных подходов. Мао, Чжоу, а позднее и Дэн оказались выдающимися личностями. Мао был визионером, жестким, безжалостным, часто кровожадным революционером; Чжоу – элегантным, очаровательным, блестящим администратором; а Дэн – реформатором глубинных убеждений. Все трое являлись воплощением общих традиций усерднейшего анализа и совмещения опыта древнейшей страны и инстинктивного разграничения между перманентным и тактически обусловленным.

Их переговорный стиль разительно отличался от стиля советской стороны. Советские дипломаты почти никогда не обсуждают вопросы концептуального характера. Их тактикой является упор на проблему, интересующую Москву в данный конкретный момент, и настоятельное упорство в достижении ее разрешения, рассчитанное не столько на то, чтобы убедить собеседников, сколько на то, чтобы их вымотать. Настойчивость и упорство, с которыми советские участники переговоров проводили в жизнь решения Политбюро, отражали железный

характер дисциплины и внутренний стиль советской политической деятельности, превращая высокую политику в изнурительную мелочную торговлю. Квинтэссенцию подобного подхода к внешнеполитической дипломатической деятельности олицетворял Громыко.

Китайские руководители представляли собой в эмоциональном плане более прочное сообщество. Их не столько интересовали тонкости формулировок, сколько установление обстановки доверия. На встрече Никсона с Мао китайский руководитель не тратил времени на заверения президента в том, что Китай не будет применять силу против Тайваня. «Мы в настоящее время обходимся без него (Тайваня) и займемся этим через сто лет». Мао не просил взаимности, сделав заявление, которого Америка ждала двадцать лет.

* * *

В феврале 1972 года Никсон подписал Шанхайское коммюнике, которое стало путеводным ориентиром для китайско-американских отношений на последующее десятилетие. Коммюнике обладало беспрецедентной особенностью: более половины текста было посвящено констатации противоположных точек зрения обеих сторон по вопросам идеологии, международных отношений, Вьетнама и Тайваня. Странным образом перечень расхождений придавал большее значение тем вопросам, по которым обе стороны договорились. В коммюнике утверждалось, что:

– прогресс в направлении нормализации отношений между Китаем и Соединенными Штатами служит интересам всех стран;

– обе стороны желают уменьшить опасность возникновения международного военного конфликта;

– ни одна из сторон не претендует на гегемонию в азиатско-тихоокеанском регионе и каждая из них будет противостоять усилиям любой другой страны или группы стран установить подобную гегемонию;

– ни одна из сторон не собирается вести переговоры от имени любой третьей стороны, или вступать в соглашения, или устанавливать взаимопонимание с другими, направленные против прочих государств.

Если убрать дипломатический жаргон, то смысл этих соглашений заключался, по меньшей мере, в том, что Китай не будет ничего делать, чтобы обострить ситуацию в Индокитае или Корее, что ни Китай, ни Соединенные Штаты не будут

сотрудничать с советским блоком и что обе страны будут противостоять попыткам любой из стран добиться господства в Азии. Поскольку единственной страной, способной добиться господства в Азии, был Советский Союз, в силу вступала молчаливая договоренность союзного характера блокировать советский экспансионизм в Азии (по типу Антанты между Великобританией и Францией в 1904 году и между Великобританией и Россией в 1907 году).

В пределах года взаимопонимание между Соединенными Штатами и Китаем превратилось в нечто более конкретное и нечто более глобальное: в коммюнике, опубликованном в феврале 1973 года, Китай и Соединенные Штаты договорились совместно (уровень выше, чем «обязательства, принимаемые на себя каждой из сторон») противодействовать (уровень выше, чем «противостоять» в Шанхайском коммюнике) попыткам любой из стран установить мировое (уровень выше, чем «над Азией») господство. На протяжении каких-то полутора лет китайско-американские отношения превратились из откровенно враждебных и изоляционистских по отношению друг к другу в де-факто союзные против преобладающей угрозы.

Шанхайское коммюнике и предшествовавшая ему дипломатическая деятельность позволили администрации Никсона создать то, что она назвала, пусть, быть может, слишком высокопарно, новой структурой сохранения мира. Как только Америка объявила о сближении с Китаем, характер международных отношений резко переменился. Позднее отношения с Китаем стали именоваться на Западе китайской «картой», как будто политика неуступчивых лидеров, правящих из Запретного Города, могла замышляться в Вашингтоне. На деле китайская «карта» либо разыгрывала себя сама, либо вовсе не существовала. Роль американской политики заключалась в том, чтобы очертить определенные границы готовности каждой из наций поддержать другую, когда их национальные интересы совпадают.

Согласно анализу Никсона и его советников, пока Китаю в большей степени есть чего опасаться со стороны Советского Союза, чем со стороны Соединенных Штатов, собственные интересы Китая заставят его сотрудничать с Соединенными Штатами. Согласно той же схеме, Китай будет противостоять советскому экспансионизму не в качестве услуги Соединенным Штатам, пусть даже это пойдет на пользу и Америке, и Китаю одновременно. Допустим, что на Никсона произвела впечатление ясность мысли китайских руководителей – особенно премьера Чжоу Эньлая. И все же Соединенным Штатам незачем было

безоговорочно вставать на одну из конфликтных сторон. Переговорная позиция Америки становилась наиболее сильной, когда Америка оказывалась ближе к каждому из коммунистических гигантов – Китаю и Советскому Союзу, – чем они сами друг к другу.

* * *

После американского сближения с Китаем Советский Союз стоял перед лицом вызова на двух фронтах: со стороны НАТО на Западе и со стороны Китая на Востоке. В период, который в другом смысле был вершиной советской уверенности в себе и точкой падения для Америки, администрации Никсона удалось перетасовать колоду. Она продолжала следить за тем, чтобы всеобщая война оставалась чересчур рискованной для Советов. После сближения с Китаем советское давление ниже уровня всеобщей войны становилось точно так же чересчур рискованным, поскольку потенциально могло ускорить столь опасное китайско-американское примирение. Как только Америка встала на путь сближения с Китаем, наилучшим выбором для Советского Союза стало, в свою очередь, ослабление напряженности с Соединенными Штатами. Поскольку в теории Кремль мог предложить Соединенным Штатам больше, чем Китай, он даже лелеял мечты преуспеть в том, чтобы искусными маневрами убедить Америку заключить нечто вроде союза, направленного против Китая, что и было топорно предложено Брежневым Никсону как в 1973, так и в 1974 году.

Применяя новый подход в области внешней политики, Америка вовсе не собиралась поддерживать более сильного против более слабого в любой из ситуаций, связанных с наличием равновесия сил. Будучи страной с наибольшими физическими возможностями нарушить мир, Советский Союз обретал стимул умерять существующие кризисы и не создавать новых, коль скоро его ожидало противодействие на двух фронтах. А Китай, возможности которого позволяли нарушить равновесие сил в Азии, сдерживался бы необходимостью сохранять добрую волю Америки, ставящей пределы советскому авантюризму. И на этом фоне администрация Никсона могла бы попытаться решить практические вопросы с Советским Союзом, одновременно поддерживая глобальный концептуальный диалог с Китаем.

Хотя многие эксперты по Советскому Союзу предупреждали Никсона, что улучшение отношений с Китаем отрицательно повлияет на советско-американские отношения, случилось как

раз прямо противоположное. До моей секретной поездки в Китай Москва в течение года замораживала организацию встречи на высшем уровне между Брежневым и Никсоном. Посредством своего рода обратной взаимозависимости она пыталась подчинить встречу на высшем уровне целому ряду условий. И вдруг, не прошло и месяца с моего визита в Пекин, как Кремль резко переменил свою позицию и пригласил Никсона в Москву. Ускорились все советско-американские переговоры, едва лишь советские руководители оставили попытки добиться односторонних уступок со стороны Америки.

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА ДЛЯ ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ

После сооружения Берлинской стены в 1961 году вопрос объединения Германии стал исчезать из повестки дня в переговорах между Востоком и Западом, а германское стремление к единству было временно отложено в долгий ящик. В эти годы де Голль решил прозондировать возможность ведения переговоров с Москвой независимо от Соединенных Штатов посредством провозглашения политики «разрядки, согласия и сотрудничества» с Восточной Европой. Надеялся он на то, что, если Москва будет воспринимать Европу как самостоятельно действующую сторону, а не как американского сателлита, кремлевские руководители, с учетом наличия у них проблем с Китаем, возможно, ослабят мертвую хватку, которой они удерживали Восточную Европу. Де Голль хотел, чтобы Западная Германия в какой-то мере отошла бы от Вашингтона и последовала бы за Францией в ее обращении к Советам.

Анализ, сделанный де Голлем, был совершенно верен, но он переоценил возможности Франции воспользоваться быстротекущими изменениями в международном положении. Федеративная Республика не была настроена поворачиваться спиной к могущественной Америке. Тем не менее концепция де Голля нашла определенный отклик у некоторых западногерманских лидеров, которые пришли к мысли, что Федеративная Республика обладает такими переговорными плюсами, которых нет в распоряжении Франции. Брандт, являвшийся министром иностранных дел, когда генерал разыгрывал свой гамбит, понял, что лежало в основе представлений де Голля. Немцы, поддерживавшие инициативу де Голля, вспоминает он, «не смогли уяснить, что генерал не собирается претворять в жизнь их мечту о европейских силах ядерного устрашения (он твердо исключал германское в них участие). Они также не обращали внимания на тот факт, что он занимался разработкой такой политики разрядки, которую никогда бы не поддержало правое крыло Союза (германской консервативной партии) и которая во многих отношениях прокладывала дорогу нашей будущей „восточной политике“».

Советское вторжение в Чехословакию положило конец инициативе де Голля, но по иронии судьбы открыло дорогу Брандту, когда в 1969 году настал его черед быть западногерманским руководителем.

Брандт тогда выдвинул парадоксальный для того времени тезис, будто, поскольку надежда на Запад завела страну в тупик, объединение Германии может быть достигнуто путем германского примирения с коммунистическим миром. Он настаивал на том, чтобы его страна признала восточногерманское государство-сателлит, согласилась с польской границей (по линии Одер – Нейссе) и улучшила отношения с Советским Союзом. А когда ослабнет напряженность в отношениях между Востоком и Западом, Советский Союз, не исключено, окажется гораздо менее жестким в вопросах объединения. По крайней мере, могут быть значительно улучшены условия жизни восточногерманского населения.

Первоначально у администрации Никсона преобладала острейшая настороженность по поводу того, что Брандт называл «восточной политикой». Поскольку каждое из германских государств стремилось увлечь за собой другое, они могли в конце концов сойтись на какой-нибудь националистической, нейтралистской программе, чего опасались Аденауэр и де Голль. Федеративная Республика обладала более привлекательной политической и социальной системой; у коммунистов было то преимущество, что если их государство признают, то факт этот станет необратимым, и в их руках будет находиться ключ к объединению. Более всего администрация Никсона опасалась за единство Запада. Де Голль уже разорвал объединенный фронт Запада против Москвы, выведя Францию из НАТО и проводя собственную политику разрядки с Кремлем. Призрак Западной Германии, вырывающейся на волю и действующей самостоятельно, бросал Вашингтон в дрожь.

И все же, по мере развития инициативы Брандта, до Никсона и его окружения стало доходить, что, несмотря на все тернии «восточной политики», альтернатива была еще рискованнее. Внезапно стало до предела ясно, что «доктрина Халлштейна» нежизнеспособна. К середине 60-х годов сам Бонн вынужден был ее скорректировать применительно к восточноевропейским коммунистическим правительствам на том весьма зыбком основании, что они не обладают свободой самостоятельного принятия решений.

* * *

Проблема, однако, оказалась гораздо глубже. В 60-е годы и в голову не могло прийти, что Москва позволит своему восточногерманскому сателлиту рухнуть без какого бы то ни

было кризиса. А любой кризис, который мог бы оказаться результатом настоятельного стремления Германии к осуществлению своих национальных чаяний или мог быть воспринят подобным образом, нес бы в себе мощнейший разрушительный потенциал для Западного альянса. Ни один из союзников не пожелал бы пойти на риск возникновения войны ради объединения страны, ставшей причиной стольких страданий в военное время. Никто не ринулся на баррикады, когда Никита Хрущев пригрозил передать пути доступа в Берлин под контроль восточногерманских коммунистов. Все без исключения западные союзники смирились с сооружением стены, разделившей Берлин и ставшей символом разделенной Германии. В течение многих лет демократические страны на словах выступали в защиту идеи германского единства, но ничего не делали ради ее осуществления. Этот подход исчерпал все пределы своих возможностей. Германская политика Атлантического союза терпела крах.

Поэтому Никсон и его советники пришли к признанию «восточной политики» необходимостью, даже полагая, что Брандт, в отличие от Аденауэра, никогда не был эмоционально близок Атлантическому союзу. Существовали только три державы, способные нарушить послевоенный статус-кво в Европе: обе сверхдержавы и Германия, если бы она решила пожертвовать всем ради объединения. В 60-е годы деголлевская Франция попыталась перекроить сложившиеся сферы влияния и потерпела неудачу. Но если бы Германия, экономически самая мощная из стран Европы и обладающая наибольшими поводами для недовольства в территориальном плане, попыталась разрушить послевоенный порядок, последствия могли бы быть самыми серьезными. И когда Брандт выказал намерения самостоятельно сделать шаг по направлению к Востоку, администрация Никсона сделала вывод, что Соединенным Штатам следует его поддержать, а не препятствовать его усилиям и идти на риск отрыва Федеративной Республики от связующей общности НАТО. Ведь это автоматически освободит ее от ограничений, налагаемых членством в Европейском экономическом сообществе!

Более того, поддержка «восточной политики» давала в руки Америки рычаги, необходимые для того, чтобы покончить с двадцатилетним кризисом по поводу Берлина. Администрация Никсона настаивала на строжайшей взаимосвязи «восточной политики» и вопроса доступа в Берлин, а также между обеими этими проблемами и советской сдержанностью в общем плане. Поскольку «восточная политика» базировалась на конкретных германских уступках: признании линии Одер – Нейссе и

восточногерманского режима в обмен на столь неосязаемые вещи, как улучшение отношений, – Брандт никогда бы не получил парламентского одобрения, если бы это не было увязано с конкретными новыми гарантиями доступа в Берлин и свободы города-анклава. Иначе Берлин оказался бы жертвой коммунистических издевательств, будучи расположен на 110 миль в глубь территории восточногерманского сателлита, суверенитет которого был бы теперь признан международным сообществом, – то есть возникла бы как раз та самая ситуация, которую пытались породить Сталин и Хрущев при помощи блокад и ультиматумов. В то же время Бонн не обладал достаточными средствами для самостоятельного решения берлинского вопроса. Только Америка была настолько сильна, чтобы преодолеть потенциальное давление, унаследованное вместе с изоляцией Берлина, и обладала дипломатическими рычагами, чтобы изменить процедуру доступа.

Юридический статус Берлина как анклава, располагающегося в глубине находящейся под советским контролем территории, основывался на правовой фикции, будто бы он с формальной точки зрения «оккупирован» четырьмя державами – победительницами во Второй мировой войне. Таким образом, переговоры по Берлину вынужденно сводились к дискуссиям между Соединенными Штатами, Францией, Великобританией и Советским Союзом. По ходу дела как советское руководство, так и Брандт (через своего исключительно умелого помощника Эгона Бара) обратились к Вашингтону с просьбой о помощи в выходе из тупика. В результате сложнейших переговоров летом 1971 года было подписано новое соглашение четырех держав, гарантирующее свободу Западного Берлина и доступ Запада в город. С того момента Берлин исчез из перечня международных кризисных точек. В следующий раз он появится в мировой повестке дня тогда, когда рухнет стена и настанет крах Германской Демократической Республики.

* * *

В дополнение к соглашению по Берлину «восточная политика» Брандта принесла с собой договоры о дружбе между Западной Германией и Польшей, между Западной и Восточной Германией и между Западной Германией и Советским Союзом. То, что Советы делали такой упор на признание Западной Германией границ, установленных Сталиным, на деле являлось признаком слабости и неуверенности в себе. Федеративная

Республика, будучи усеченным государством, по сути дела, не в состоянии была бы бросить вызов ядерной сверхдержаве. В то же время эти договоры дали Советам гигантский стимул к сдержанности поведения хотя бы на период их обсуждения и ратификации. Когда эти договоры оказались на рассмотрении западногерманского парламента, Советы воздерживались от чего бы то ни было, что могло бы повредить их одобрению; а потом они проявляли особую осторожность, чтобы не побуждать Германию вернуться вспять, к политике Аденауэра. И потому, когда Никсон решил заминировать северовьетнамские порты и возобновить бомбардировки Ханоя, Москва в ответ в основном помалкивала. Пока положение Никсона во внутриполитическом плане было прочным, разрядка с успехом сводила воедино целый ряд проблем отношений Востока и Запада в масштабах всего земного шара. И если Советы хотели пожать плоды разрядки напряженности, они также были обязаны внести свой вклад в ее успех.

УМЕНЬШЕНИЕ СОВЕТСКОГО ВЛИЯНИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

В то время как в Центральной Европе администрация Никсона была в состоянии связать отдельные переговоры друг с другом, на Ближнем Востоке она использовала политику разрядки как подстраховку в процессе уменьшения политического влияния Советского Союза. В 60-е годы Советский Союз стал основным поставщиком оружия для Сирии и Египта и организационно-технической опорой радикальных арабских группировок. На международных форумах Советский Союз действовал, как глашатай арабской позиции, причем весьма часто поддерживал наиболее радикальную точку зрения.

И пока такого рода ситуация существовала, дипломатический успех приписывался советской поддержке, а тупиковые ситуации были чреваты риском повторения кризисов. Выход из тупика мог бы быть найден только тогда, когда все заинтересованные стороны трезво оценили бы основополагающую геополитическую реальность Ближнего Востока: Израиль был слишком силен (или мог быть сделан таковым), чтобы его смогли победить даже сообща все его соседи, а Соединенные Штаты не останутся безучастными в случае советского вмешательства. Поэтому администрация Никсона настаивала на том, чтобы все стороны, а не только союзники Америки, проявили готовность пойти на жертвы, прежде чем Америка окажется вовлечена в мирный процесс. Советский Союз обладал достаточно внушительными возможностями поднять уровень напряженности, но у него не было в распоряжении средств довести кризис до стадии разрешения или защищать дело своих друзей дипломатическими средствами. Он мог угрожать интервенцией, как это было в 1956 году, но опыт доказывал слишком часто, что перед американским противодействием Советы предпочитали отступать.

Ключ к миру на Ближнем Востоке, следовательно, находился в Вашингтоне, а не в Москве. Если бы Соединенные Штаты аккуратно разыграли свои карты, либо Советский Союз вынужден был бы сделать вклад в подлинное разрешение конфликта, либо один из арабских его клиентов шагнул бы из строя в сторону Соединенных Штатов. В любом случае сократилось бы советское влияние на радикальные арабские государства. Вот почему в самом начале первого срока пребывания Никсона на посту президента я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы заявить журналисту: новая администрация постарается устранить

советское влияние на Ближнем Востоке. Хотя столь неосторожное замечание произвело фурор, оно точно обрисовывало стратегию, к которой собиралась прибегнуть администрация Никсона.

Не понимая стоящей перед ними стратегической дилеммы, советские руководители попытались побудить Вашингтон к оказанию поддержки дипломатическим шагам, исход которых укрепил бы советские позиции в арабском мире. Но пока Советский Союз продолжал снабжать радикальные ближне– и средневосточные государства горами оружия, а их дипломатические программы были идентичны, Соединенные Штаты не интересовало сотрудничество с Москвой, – хотя это было не совсем ясно тем, кто считал сотрудничество с Советским Союзом самоцелью. Сточки зрения Никсона и его советников, наилучшей стратегией была бы демонстрация того, что возможности Советского Союза создавать кризисы не соответствовали его способностям их разрешать. Арабская умеренность вознаграждалась бы предоставлением ответственным арабским руководителям американской помощи и поддержки в тех случаях, когда их жалобы носили законный характер. Советский Союз тогда вынужден был бы либо принимать в этом участие, либо отойти на задворки ближневосточной дипломатии. В процессе достижения этих целей Соединенные Штаты следовали двумя дополняющими друг друга путями: они блокировали любой шаг арабов, который проистекал бы из советской военной поддержки или мог бы повлечь за собой возникновение советской военной угрозы; а также брали в свои руки мирный процесс, как только разочарование из-за тупиковой ситуации заставляло ведущих арабских лидеров отъединяться от Советского Союза и поворачиваться к Соединенным Штатам. Такого рода обстоятельства создались после арабо-израильской войны 1973 года.

* * *

Первый признак того, что стратегия Никсона начинает оказывать влияние, появился в 1972 году. Египетский президент Анвар Садат отказался от услуг всех советских военных советников и попросил советских технических специалистов покинуть страну. Одновременно начались тайные дипломатические контакты между Садатом и Белым домом, хотя они и были достаточно ограниченными: вначале из-за американских президентских выборов, а потом из-за «уотергейта».

В 1973 году Египет и Сирия начали войну против Израиля. Это явилось полной неожиданностью как для Израиля, так и для Соединенных Штатов. Такой возможности никак не предполагали основанные на предвзятых мнениях разведывательные прогнозы! Американский прогноз был до такой степени подчинен идее о всеподавляющем превосходстве Израиля, что все арабские предупреждения отбрасывались как блеф. Нет доказательств тому, что Советский Союз активно подталкивал Египет и Сирию к войне, а Садат позднее рассказывал нам, что советские руководители с самого начала призывали к прекращению огня. Да и советские дополнительные поставки своим арабским друзьям даже отдаленно не напоминали по объему и качеству воздушный мост из Америки в Израиль.

По окончании войны стало ясно, что арабские армии воевали гораздо более эффективно, чем в любом из предыдущих конфликтов. Зато Израиль форсировал Суэцкий канал в точке, находящейся на расстоянии примерно двадцати миль от Каира, и занял сирийскую территорию вплоть до самых пригородов Дамаска. Потребовалась американская поддержка, во-первых, для того, чтобы восстановить довоенный статус-кво, а затем, чтобы продвинуться к миру.

Первым арабским лидером, признавшим это, оказался Садат, который отказался от своего прежнего принципа «все или ничего» и, отвернувшись от Москвы, обратился к Вашингтону в поисках содействия в постепенном продвижении к миру. Даже сирийский президент Хафез Асад, считавшийся наиболее радикальным из двух лидеров и более близкий к Советскому Союзу, обратился с призывом к американской дипломатии по проводу Голанских высот. В 1974 году были заключены промежуточные соглашения с Египтом и Сирией, с которых начался уход Израиля с арабских территорий в обмен на гарантии безопасности. В 1975 году Израиль и Египет заключили второе соглашение о разведении войск. В 1979 году Египет и Израиль заключили официальное мирное соглашение под эгидой президента Картера. С того времени каждая из американских администраций вносила свой крупный вклад в процесс мирного урегулирования, включая первые прямые переговоры между арабами и израильтянами в 1991 году, организованные государственным секретарем Джеймсом Бэйкером, и израильско-палестинское соглашение, заключенное под эгидой Клинтона в сентябре 1993 года. Кремль ни в одной из этих инициатив не играл существенной роли.

ВОПРОС О ЕВРЕЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ СССР

Как предмет дипломатических переговоров вопрос еврейской эмиграции из Советского Союза был порождением администрации Никсона. До 1969 года ничего подобного никогда не стояло в повестке дня при диалоге между Востоком и Западом; все прочие администрации обеих партий трактовали его как предмет внутренней юрисдикции Советского Союза. В 1968 году только 400 евреям было позволено эмигрировать из Советского Союза, и ни одна из демократических стран этого вопроса не затронула.

По мере улучшения американо-советских отношений администрация Никсона начала обсуждать проблему эмиграции в форме президентских закулисных переговоров, сопровождая это тем доводом, что советские действия не остаются незамеченными на самых высоких уровнях власти в Америке. Кремль начал реагировать на американские «соображения», особенно после того, как советско-американские отношения стали улучшаться. Каждый год росло число еврейских эмигрантов, и к 1973 году общее их число достигло 35 тыс. в год. Кроме того, Белый дом регулярно направлял советским руководителям перечень трудных случаев: когда конкретным лицам отказывали в выездной визе, или когда разлучались семьи, или когда кто-то попадал в тюрьму. Большинству из этих советских граждан было позволено эмигрировать.

Все это осуществлялось посредством того, что при изучении начального курса дипломатии именуется «молчаливым торгом». Не делается никаких официальных запросов, не дается никаких официальных ответов. Советские действия совершаются, не получая формального подтверждения. Но порядок эмиграции из Советского Союза постоянно совершенствовался, хотя Вашингтон никогда не предъявлял по этому поводу конкретных претензий. Администрация Никсона до того строго придерживалась подобных правил, что никогда не ставила себе в заслугу смягчение участи советских эмигрантов – даже во время избирательных кампаний – до тех пор, пока сенатор Генри Джексон не превратил вопрос еврейской эмиграции в предмет общественной конфронтации.

* * *

Джексона подвигло на это курьезное решение Кремля летом 1972 года наложить «выездной сбор» на эмигрантов, якобы для того, чтобы возместить советскому государству расходы на образование отъезжающих граждан. Никаких объяснений дано не было; возможно, это была попытка подать себя наиболее выгодным образом в арабском мире, непрочность позиции которого наглядно продемонстрировало удаление из Египта советских боевых подразделений. А может быть, налог на отъезжающих был придуман как средство изыскания источников поступления иностранной валюты в надежде на то, что ее заплатят американские сторонники роста эмиграции. Боясь, что поток эмиграции иссякнет, еврейские группировки обращались как к администрации Никсона, так и к их неизменной опоре – Генри Джексону.

В то время как администрация Никсона продолжала действовать тихой сапой, чтобы разрешить этот вопрос с послом Добрыниным, Джексон изобрел оригинальное средство публичного оказания давления на Советский Союз. В рамках встречи 1972 года было подписано соглашение между Соединенными Штатами и Советским Союзом, предоставляющее Советскому Союзу статус наиболее благоприятствуемой нации в обмен на урегулирование оставшихся со времен войны долгов по ленд-лизу. В октябре 1972 года Джексон предложил поправку, запрещавшую предоставление статуса наиболее благоприятствуемой нации любой из стран, искусственно ограничивающих эмиграцию.

Это был блестящий в тактическом отношении ход. Сами слова «статус наибольшего благоприятствования» звучат весьма значительно, хотя по сути это означает всего лишь отсутствие дискриминации. Статус этот не дает никаких особых привилегий, но просто предоставляет реципиенту привилегии, имеющиеся у всех наций, с которыми Соединенные Штаты поддерживают нормальные коммерческие отношения (а число их тогда превышало сотню). Режим наибольшего благоприятствования способствует развитию нормальной торговли на базе коммерческой взаимности. С учетом состояния советской экономики объем такого рода торговли заведомо не мог быть большим. Зато при помощи поправки Джексона удалось достичь того, что советская эмиграционная практика стала не только предметом открытой дипломатической деятельности, но и законодательной деятельности американского Конгресса.

По существу предмета разногласий между администрацией и Джексоном не было. Более того, администрация заняла твердую точку зрения и по ряду других вопросов, связанных с правами

человека. К примеру, я неоднократно и настойчиво обращался к Добрынину по поводу писателя-диссидента Александра Солженицына, что способствовало его отъезду из Советского Союза. Джексон, однако, не поощрял тихой дипломатии применительно к правам человека и настаивал на том, чтобы американская преданность этому делу демонстрировалась открыто и напоказ, – чтобы успехи вознаграждались, а неудачи влекли за собой негативные последствия.

Для Джексона и его сторонников вопрос еврейской эмиграции был внешним выражением идеологической конфронтации с коммунизмом. Неудивительно, что каждую советскую уступку они рассматривали с точки зрения успешности своей тактики давления. Советские руководители отменили выездной сбор: вследствие ли представлений со стороны Белого дома, или в силу поправки Джексона, или благодаря и тому и другому, что наиболее вероятно, – мы, однако, сможем точно узнать это лишь тогда, когда раскроются советские архивы. Воспрявшие духом критики администрации потребовали увеличения вдвое численности еврейской эмиграции и снятия запретов на эмиграцию других национальностей в соответствии со схемой, подлежащей одобрению со стороны Соединенных Штатов. Силами сторонников Джексона были также законодательно оформлены ограничения по займам и кредитам Советскому Союзу со стороны Экспортно-импортного банка (поправка Стивенсона), так что в коммерческих вопросах Советский Союз в итоге очутился в худшем положении после начала разрядки по сравнению с ситуацией до начала ослабления напряженности между Востоком и Западом.

* * *

Будучи руководителем страны, которая только-только начинала приходить в себя после изнурительной вьетнамской войны, но зато входила в полосу кризиса президентской власти, Никсон шел только на такой риск, который соответствовал его концепции национальных интересов и который его страна была бы готова поддержать. Зато его критики желали, чтобы американская дипломатия довела советскую систему до краха посредством требования односторонних уступок в деле контроля над вооружениями, ограничения торговли и демонстративной защиты прав человека. По ходу дела произошло кардинальное изменение позиций ряда основных участников общенациональных дебатов. «Нью-Йорк тайме» в одной из

передовых статей в 1971 году предупреждала, что «тактика ограничения торговли с Америкой в качестве рычага позднейших уступок по поводу не связанных с этим вопросов в еще меньшей степени способна положительно повлиять на советскую политику, чем сама торговля…». Через два года автор передовиц сменил курс. Он осудил поездку министра финансов Джорджа Шульца в Советский Союз, объявив ее свидетельством того, что «администрация до такой степени заинтересована в торговле и разрядке, что готова отодвинуть в сторону в равной степени весомую озабоченность американского народа вопросами прав человека где бы то ни было».

Никсон старался поощрять умеренность в поведении Советского Союза на международной арене посредством лакмусовой бумажки роста торговли с Америкой, показывающей качество советской внешней политики. Его оппоненты пытались провести принцип увязки еще дальше, чтобы попытаться при помощи торговли стимулировать радикальные внутренние перемены в Советском Союзе в те времена, когда Советский Союз был еще силен и уверен в себе. Всего за четыре года до этого осуждаемый как глашатай «холодной войны», Никсон теперь подвергался осуждению за исключительную мягкость и доверчивость в отношении Советского Союза – безусловно, впервые такого рода обвинение адресовалось человеку, который начал свою политическую карьеру антикоммунистическими расследованиями конца 40-х годов.

Вскоре был брошен вызов самой концепции улучшения советско-американских отношений, как это было сделано в передовой статье «Вашингтон пост»:

«Самый трудный вопрос по поводу того, что же является сущностью советско-американской разрядки, переходит из фазы дебатов в фазу политики. Значительное число американцев, похоже, приходит к убеждению, что улучшение отношений с Советским Союзом нежелательно, невозможно и небезопасно, пока Кремль не либерализирует кое-какие вопросы своей внутренней политики».

Споры превратились в дебаты, суть которых была известна еще со времен Джона Квинси Адамса и заключалась в том, должны ли Соединенные Штаты довольствоваться утверждением собственных моральных ценностей или обязаны начинать в их защиту крестовый поход. Никсон пытался соотнести цели и задачи Америки с ее возможностями. В этих пределах он был готов воспользоваться влиянием Америки для пропаганды ее ценностей, что доказывается его поведением по вопросу еврейской эмиграции.

Критики требовали от него немедленного воплощения в жизнь универсальных принципов и отмахивались с нетерпением от понятия целесообразности, считая ссылку на него доказательством морального несоответствия или исторического пессимизма. Утверждая исключительность американского идеализма, администрация Никсона полагала, что он исполняет важную просветительскую функцию. В тот момент, когда Америку наставляли, что она на примере Вьетнама должна научиться определять пределы геополитических возможностей, фигуры общенационального масштаба в авангарде критикующих вьетнамскую политику настаивали на том, чтобы страна избрала курс неограниченного и глобального вмешательства в проблемы мировой гуманности. Какая ирония судьбы!

Как потом покажут годы пребывания Рейгана на президентском посту, более решительная политика по отношению к Советскому Союзу породила ряд успехов и достижений, хотя эти успехи стали очевидны лишь на позднейшей стадии советско-американских отношений. Но когда только разгорались дебаты по поводу разрядки, Америке еще предстояло оправиться после Вьетнама и позабыть про «уотергейт». А у советских лидеров должна была произойти смена поколений. Но то, как разворачивались дебаты в начале 70-х годов, тем не менее позволило сохранить определенное равновесие между идеализмом, пронизывающим все великие американские инициативы, и реализмом, предопределенным переменой глобальной обстановки.

Критики разрядки упрощали предмет спора до предела; администрация Никсона во вред себе чересчур педантично отвечала на все вопросы. Уязвленный нападками со стороны бывших друзей и союзников, Никсон отмахивался от критики, как политически мотивированной. Каким бы верным ни было это его предположение, вряд ли надо обладать глубинной проницательностью, чтобы обвинять профессиональных политиков в наличии у них политических мотивов. Администрации следовало бы задать себе вопрос: почему столько политиков сочло для себя целесообразным присоединиться к лагерю Джексона.

* * *

Очутившись в тисках между уравнительным морализаторством и чрезмерным упором на геополитику, американская политика к концу срока пребывания Никсона на

посту президента оказалась в тупике. Пряник роста торговли был припрятан, кнут роста оборонных расходов, или даже готовность противостоять геополитическим конфронтациям, и вовсе отсутствовал. Переговоры об ОСВ замерли; еврейская эмиграция из Советского Союза превратилась в тоненькую струйку; а коммунистическое геополитическое наступление возобновилось с направлением кубинского экспедиционного корпуса в Анголу, где образовалось коммунистическое правительство, в то время как американские консерваторы выступали против твердого американского ответа на это. Я обрисовал эти трудности следующим образом:

«Если одна группировка критиков подрывает ведение переговоров по контролю над вооружениями и устраняет перспективы более конструктивных связей с Советским Союзом, то другая группировка урезает наши оборонные бюджеты и сокращает разведывательные службы, что становится серьезной помехой сопротивляемости Америки советскому авантюризму, причем объединенное воздействие обеих тенденций, независимо от первоначальных намерений каждой из группировок, в итоге приводит к тому, что разрушает способность нации вести твердую, изобретательную, умеренную и благоразумную внешнюю политику».

СОВЕЩАНИЕ В ХЕЛЬСИНКИ. ВОПРОС О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором приняло участие тридцать пять государств и результатом которого явились Хельсинкские соглашения, потомки назовут значительнейшим дипломатическим достижением Запада. Этот громоздкий дипломатический процесс имел в своей основе глубоко укоренившееся у Москвы чувство неуверенности в себе и неуемную жажду легитимизации. Даже создав гигантский военный истеблишмент и удерживая при себе более сотни наций, Кремль действовал так, словно постоянно нуждался в подтверждении собственного могущества. Независимо от наличия огромного и постоянно растущего ядерного арсенала, Советский Союз требовал от тех самых стран, которым он угрожал в течение десятилетий и которых приговорил к тому, чтобы они оказались на мусорной свалке истории, той или иной формулировки, при помощи которой освящались бы их приобретения. В этом смысле Европейское Совещание стало брежневским эрзацем хрущевскому мирному договору с Германией, которого Хрущеву так и не удалось добиться при помощи берлинского ультиматума, – и крупномасштабным подтверждением послевоенного статус-кво.

Конкретная выгода, предусмотренная Москвой, вовсе не была самоочевидной. Настоятельное желание колыбели идеологической революции получить подтверждение собственной легитимности со стороны заведомых жертв исторической необходимости являлось симптомом исключительной неуверенности в себе. Возможно, советские руководители делали ставку на вероятность того, что конференция создаст по окончании какие-либо институты, которые либо растворят в себе НАТО, либо лишат его какого бы то ни было значения.

Это являлось чистейшим самообманом. Ни одна из стран НАТО не собиралась подменять декларативно-бюрократическими конструкциями Европейского Совещания военные реалии НАТО или присутствие американских вооруженных сил на континенте. Москва, как выяснилось позднее, теряла от этой конференции гораздо больше, чем демократические страны, ибо в итоге она предоставила всем своим участникам, включая Соединенные Штаты, право голоса в вопросах политического устройства Восточной Европы.

* * *

После периода сомнений администрация Никсона согласилась с предложением о проведении Совещания. Отдавая себе отчет в том, что у Советского Союза существует свой, прямо противоположный план его проведения, мы тем не менее воспользовались столь далеко идущими возможностями. Границы стран Восточной Европы давно уже были признаны мирными договорами, заключенными по окончании Второй мировой войны между военными союзниками и военными сателлитами Германии в Восточной Европе. Они затем были четко подтверждены в двухсторонних соглашениях, заключенных Вилли Брандтом между Федеративной Республикой и странами Восточной Европы, а также между другими демократическими странами НАТО, особенно Францией, и странами Восточной Европы (включая Польшу и Советский Союз). Более того, все союзники по НАТО настаивали на проведении Европейского Совещания по вопросам безопасности; на каждой из встреч с советскими представителями западноевропейские лидеры делали очередной шаг в сторону принятия советской повестки дня.

И тогда в 1971 году администрация Никсона решила включить Европейское Совещание по безопасности в число своего списка инициатив, стимулирующих советскую сдержанность. Мы применили стратегию «увязывания», итоги которой подвел откровенно и точно советник государственного департамента Хельмут Зонненфельдт: «Мы воспользовались ею ради заключения Германо-Советского договора, мы воспользовались ею ради соглашения по Берлину, и мы опять-таки воспользовались ею ради начала переговоров МБФР (переговоров по взаимному сбалансированному сокращению вооруженных сил в Европе)».

Вначале администрация Никсона, а затем администрация Форда предопределили исход конференции, обусловив участие в ней Америки сдержанностью советского поведения по всем другим вопросам. Они настояли на удовлетворительном завершении переговоров по Берлину и на начале переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил в Европе. Когда все это было завершено, делегации тридцати пяти наций прибыли в Женеву, хотя тернистый путь этих переговоров почти не освещался западной прессой. Зато в 1975 году Совещание вышло на авансцену, когда было объявлено, что договоренность достигнута и соглашения будут подписаны в Хельсинки во время встречи на уровне глав государств.

Американское влияние способствовало сведению положения о признании границ к обязательству не изменять их при помощи

силы, что являлось прямым повторением Устава ООН. Поскольку ни одна из европейских стран не обладала возможностью осуществить такого рода насильственные изменения или проводить направленную на это политику, то такого рода формальный отказ вряд ли можно было считать советским достижением. Даже это ограниченное признание их законности перечеркивалось утверждением предшествовавшего этому положению принципа, в основном отстаивавшегося Соединенными Штатами. Он гласил, что нижеподписавшиеся государства «полагают, что их границы могут быть изменены, в соответствии с международным правом, мирными средствами и путем соглашения».

* * *

Наиболее важным положением Хельсинкских соглашений явилась так называемая «третья корзина» по вопросам прав человека. («Первая» и «вторая» «корзины» соответственно касались политических и экономических вопросов.) «Третьей корзине» было суждено сыграть ведущую роль в исчезновении орбиты советских сателлитов, и она стала заслуженной наградой всем активистам в области прав человека в странах НАТО. Американская делегация, безусловно, внесла свой вклад в выработку заключительного акта Хельсинкских соглашений. Но особой благодарности заслуживают именно активисты движений за права человека, потому что в отсутствие давления с их стороны прогресс осуществлялся бы гораздо медленнее и масштабы его были бы куда менее значительны.

«Третья корзина» обязывала все подписавшие соглашения страны претворять в жизнь и обеспечивать определенные, конкретно перечисленные основные права человека. Западные составители этого раздела надеялись, что эти положения создадут международный стандарт, который будет сдерживать советские репрессии против диссидентов и преобразователей. Как выяснилось, герои-реформаторы в Восточной Европе использовали «третью корзину» как фундамент сплочения в борьбе за освобождение своих стран от советского владычества. Вацлав Гавел в Чехословакии и Лех Валенса в Польше обеспечили себе место в пантеоне борцов за свободу благодаря тому, что использовали эти положения как во внутреннем, так и во внешнем плане для подрыва не только советского господства, но и коммунистических режимов в собственных странах.

Европейское Совещание по безопасности, таким образом,

сыграло важную роль двоякого характера: на предварительных этапах оно делало более умеренным советское поведение в Европе, а впоследствии – ускорило развал советской империи.

Через три недели после Совещания я суммировал в своей речи отношение ко всему этому администрации Форда:

«Соединенные Штаты осуществляют процесс ослабления напряженности с позиции силы и уверенности в себе. Не мы обороняемся в Хельсинки; не нам бросают вызов все делегации с требованием жить согласно принципам, под которыми ставится наша подпись. В Хельсинки впервые за весь послевоенный период вопросы прав человека и фундаментальных свобод стали признанными предметами диалога и переговоров между Востоком и Западом. Конференция выдвинула наши стандарты человеческого поведения, которые были и остаются маяком надежды для миллионов».

«ДОКТРИНА РЕЙГАНА» ПРОТИВ «ДОКТРИНЫ БРЕЖНЕВА». ГОРБАЧЕВ

«Холодная война» началась тогда, когда Америка ожидала наступления эры мира. А закончилась «холодная война» в тот момент, когда Америка готовила себя к новой эре продолжительных конфликтов. Крушение советской империи свершилось еще более внезапно, чем развал ее за пределами границ собственно СССР; с той же скоростью Америка диаметрально изменила собственное отношение к России, за какие-то несколько месяцев перейдя от враждебности к дружбе.

Эти моментальные перемены свершились под эгидой двух совершенно невероятных партнеров. Избрание Рональда Рейгана было своего рода реакцией на кажущееся американское отступление ради утверждения традиционных истин американской исключительности. Горбачев, пробившийся к известности через жесточайшую борьбу на всех уровнях коммунистической иерархии, был преисполнен решимости вдохнуть новую силу в передовую, как он считал, советскую идеологию.

И Рейган, и Горбачев верили в конечную победу собственной стороны. Однако существовало знаменательное различие между этими двумя столь неожиданными партнерами: Рейган понимал, какие силы движут его обществом, в то время как Горбачев абсолютно утерял с ними связь. Оба лидера апеллировали к тому лучшему, что видели в своих системах. Но Рейган высвободил дух своего народа, пустив в ход золотой запас инициативы и уверенности в себе. Горбачев же резко ускорил гибель представляемой им системы, призывая к реформам, провести которые он оказался не способен.

* * *

Вслед за крахом в Индокитае в 1975 году последовало отступление Америки из Анголы и углубление внутреннего раскола вследствие невероятного всплеска советского экспансионизма. Кубинские вооруженные силы распространились от Анголы до Эфиопии в тандеме с тысячами советских военных советников. В Камбодже вьетнамские войска, поддерживаемые и снабжаемые Советским Союзом, подчиняли себе эту истерзанную страну. Афганистан был оккупирован советскими войсками в

количестве более 100 тыс. человек. Правительство прозападно настроенного шаха Ирана рухнуло, и на его место пришел радикально антиамериканский фундаменталистский режим, захвативший пятьдесят два американца, большинство из которых были официальными лицами, в качестве заложников. Независимо от причин, костяшки домино продолжали выпадать.

И все же когда международный престиж Америки опустился до самого низкого уровня, коммунизм начал отступать. В какой-то момент, в начале 80-х казалось, что коммунизм набрал темп и вот-вот сметет все на своем пути; и почти немедленно, в отмеренное историей время, коммунизм приступил к саморазрушению. В пределах десятилетия прекратила свое существование орбита восточноевропейских сателлитов, а советская империя распалась на части, теряя почти все русские приобретения со времен Петра Великого. Ни одна мировая держава не рассыпалась до такой степени полностью и так быстро, не проиграв войны.

Отчасти советская империя распалась потому, что собственная история подталкивала ее к перенапряжению. Советское государство возникло вопреки всему, а затем ухитрилось пережить гражданскую войну, изоляцию и последовательное пребывание у власти свирепейших правителей. В 1934–1941 годах оно умело превратило маячившую на горизонте Вторую мировую войну в так называемую «империалистическую гражданскую войну», а затем преодолело нацистский натиск при содействии западных союзников. Позднее перед лицом американской атомной монополии оно сумело создать цепочку государств-сателлитов в Восточной Европе, а в послесталинский период превратить себя в глобальную сверхдержаву. Поначалу советские армии угрожали л ишь сопредельным территориям, но потом дотянулись до отдаленных континентов. Советские ядерные силы росли с такой скоростью, которая заставляла многих американских экспертов опасаться того, что советское стратегическое превосходство неизбежно. Как британские лидеры XIX столетия Пальмерстон и Дизраэли, американские государственные деятели полагали, что Россия повсеместно находится на марше.

Фатальным просчетом раздувшегося империализма Советов было то, что их руководители на этом пути утеряли чувство меры и переоценили способности своей системы консолидировать сделанные приобретения как в военном, так и в экономическом отношении, а к тому же позабыли, что они в буквальном смысле бросают вызов всем прочим великим державам при наличии весьма слабого фундамента. Да и не в состоянии были советские

руководители признаться самим себе, что их система была смертельно поражена неспособностью генерировать инициативу и творческий порыв; что на самом деле Советский Союз, несмотря на всю свою военную мощь, являлся все еще весьма отсталой страной. Причины, которыми руководствовалось советское Политбюро, душили творческие способности, необходимые для развития общества, и мешали его устойчивости в конфликте, который само Политбюро спровоцировало.

Попросту говоря, Советский Союз не был достаточно силен или достаточно динамичен для исполнения той роли, которую назначили ему советские руководители. Сталин, возможно, имел смутные предчувствия относительно истинного соотношения сил и потому отреагировал на американское наращивание военного потенциала в период Корейской войны «мирной нотой» 1952 года. В переходный период после смерти Сталина его отчаявшиеся преемники ложно истолковали собственное выживание в отсутствие вызова извне как доказательство слабости Запада. И они тешили себя тем, что воспринимали как кардинальный советский прорыв в мир развивающихся стран. Хрущев и его преемники сделали вывод, что они сумеют переплюнуть тирана. Чем раскалывать капиталистический мир, что и было фундаментальной стратегией Сталина, они предпочитали одерживать над ним победу посредством ультиматумов по Берлину, размещения ракет на Кубе и авантюрного поведения на всем пространстве мира развивающихся стран. Эти усилия, однако, до такой степени превысили советские возможности, что превратили стагнацию в крах.

* * *

Развал коммунизма стал заметен уже во второй срок пребывания Рейгана на посту президента, а к тому моменту, как он покинул этот пост, стал необратим. Следует отдать должное президентам, предшествовавшим Рейгану, и его непосредственному преемнику Джорджу Бушу, который умело управлял развязкой. Тем не менее поворотным пунктом послужило именно пребывание Рейгана на посту президента.

Рейган вел себя потрясающе, а для ученых наблюдателей – уму непостижимо. Рейган почти не знал истории, а то немногое, что он знал, приспосабливал, подгоняя под предвзятые суждения, которых он твердо придерживался. Он рассматривал библейские ссылки на Армагеддон как оперативные инструкции. Множество любимых им исторических анекдотов не базировались на фактах

в том смысле, как вообще понимается само слово «факт». Как-то в частной беседе он сравнил Горбачева с Бисмарком, утверждая, что оба преодолели идентичное внутреннее сопротивление, уходя от централизованного планирования экономики в мир свободного рынка. Я посоветовал нашему общему другу предупредить Рейгана, чтобы он никогда не сообщал столь нелепого умозаключения германским собеседникам. Друг, однако, счел неразумным передавать это предупреждение, ибо оно бы лишь еще более глубоко врезало подобное сравнение в сознание Рейгана.

Подробности внешнеполитической деятельности Рейгана утомляли. Он усвоил несколько основополагающих идей относительно опасностей умиротворения, зол коммунизма и величия собственной страны, но анализ существенно важных проблем был ему не под силу. Все это послужило для меня поводом к замечанию, сделанному, как мне казалось, вне протокола в обществе собравшихся на конференцию историков в помещении Библиотеки Конгресса: «Когда вы разговариваете с Рейганом, то иногда удивляетесь, почему кому-то могло прийти в голову, что он может быть президентом или даже губернатором. Но тогда именно вам, историкам, следует объяснить, как столь неинтеллектуальный человек мог управлять Калифорнией восемь лет, а Вашингтоном уже почти семь».

Средства массовой информации стали охотно пережевывать лишь первую часть моего заявления. Однако для историка вторая гораздо более интересна. С учетом всего сказанного и сделанного президент при самой что ни на есть неглубокой академической подготовке сумел разработать внешнюю политику исключительной содержательности и целенаправленности. Да, у Рейгана, возможно, было всего лишь несколько основных идей, но они-то как раз оказались стержневыми внешнеполитическими проблемами того периода. Это доказывает, что ключевыми качествами руководителя являются чувство выбора направления и крепость собственных убеждений. Вопрос о том, кто составлял для Рейгана заявления по внешнеполитическим вопросам – а ни один президент сам их не сочиняет, – почти не имеет отношения к делу. Бытует предание, будто бы Рейган был орудием тех, кто писал ему речи, но подобные иллюзии характерны для большинства работников такого рода. Но в конце концов, ведь именно сам Рейган отбирал себе людей, которые мастерили ему речи, а он произносил их с исключительной убежденностью и убедительностью. Знакомство с Рейганом не оставляет никаких сомнений в том, что эти речи отражали его личные взгляды и что по некоторым вопросам, к примеру, в отношении «стратегической

оборонной инициативы», он был значительно впереди собственного окружения.

* * *

В американской системе управления, где президент является единственным общенационально избираемым официальным лицом, стыковка внешнеполитических направлений проистекает – если таковая вообще наличествует – из президентских заявлений. Они являются наиболее исчерпывающей директивой для расползшейся самодовольной бюрократии и предметом дебатов в обществе и в Конгрессе. Рейган выдвинул внешнеполитическую доктрину, в величайшей степени взаимоувязанную и обладающую значительной интеллектуальной мощью. Он обладал исключительным интуитивным настроем на глубинные источники американской мотивации. Одновременно он осознавал изначальную хрупкость советской системы, а его проницательность шла вразрез с мнением большинства экспертов, даже в его собственном консервативном лагере.

Рейган обладал незаурядным талантом объединять американский народ. И сам являлся необычайно милой и неподдельно добродушной личностью. Даже жертвы его риторики с огромным трудом могли отыскать что-то, направленное против них лично. Он доводил меня до белого каления, когда ему не удалось выставить свою кандидатуру на президентских выборах 1976 года, но я не мог долго на него сердиться, несмотря на то, что, будучи советником по вопросам национальной безопасности, консультировал его в течение многих лет без единого протеста с его стороны относительно той самой политики, на которую он нападал. Когда все уже было позади, я вспоминал не предсъездовскую риторику, но сочетание здравого смысла с буквально сказочной доброй волей Рейгана во время консультаций. Во время ближневосточной войны 1973 года я сообщил ему, что мы возместим Израилю все потери в авиации, но вопрос в том, как обуздать реакцию арабов. «А почему бы вам не заявить, что вы возместите все то число самолетов, которое было сбито согласно заявлениям арабов?»– предложил Рейган, поскольку такое предложение обернуло бы беспредельно раздутые пропагандистские заявления арабов против их авторов.

Внешнее добродушие Рейгана скрывало под собой невероятно сложную личность. Он был одновременно близок всем по духу и от всех далек, любитель разделить общее веселье, но в итоге настороженный одиночка. Светскость служила ему способом

сохранять дистанцию между собой и всеми прочими. Если он отнесется ко всем одинаково дружелюбно и будет угощать всех одними и теми же историями, никто не сможет претендовать на особые отношения с ним. Запас анекдотов, которые пускались в обращение от беседы к беседе, защищал от односторонности и политической слепоты. Как и многие актеры, Рейган был квинтэссенцией одинокой личности – столь же очаровательной, сколь и эгоцентричной. Один человек, который, как многие полагали, находился в доверительных с ним отношениях, сказал как-то мне, что Рейган одновременно самый дружелюбный и самый далекий из всех людей, с кем ему доводилось встречаться.

* * *

Рейган отвергал «комплекс вины», отождествляемый им с администрацией Картера, и гордо защищал достижения Америки как «величайшей силы, действующей в пользу мира во всех местах нынешнего мира». На своей первой же пресс-конференции он заклеймил Советский Союз как империю разбоя, готовую «совершить любое преступление, солгать, смошенничать», чтобы добиться своих целей. Это было предтечей заявления 1983 года, в котором Советский Союз именуется «империей зла», то есть предтечей прямого морального вызова, от которого отшатнулись бы все предшественники президента. Рейган пренебрег общепринятой дипломатической мудростью и пошел на сознательное упрощение сущности американских добродетелей, взяв на себя миссию убедить американский народ в том, что идеологический конфликт между Востоком и Западом значим и реален. Борьба на международной арене ведется по поводу того, кто будет победителем, а кто побежденным, и никто не задается вопросом, кто сохранит свое могущество и кто окажется лучшим дипломатом.

Риторика первого срока пребывания Рейгана на посту президента означала официальное окончание периода разрядки. Целью Америки становилось уже не ослабление напряженности, но крестовый поход и обращение противника в свою веру. Рейган был избран, как многообещающий носитель воинствующего антикоммунизма, и остался верен этому до конца. Оказавшись в счастливом положении, когда упадок Советского Союза все более ускорялся, он отверг, как нечто весьма относительное, упор Никсона на национальные интересы и отказался от сдержанности Картера, как чересчур пораженческой по сути. Вместо этого Рейган выступил с апокалиптическим видением конфликта,

становящегося более терпимым вследствие исторической неизбежности его итога. В речи на Королевской галерее палаты лордов в Лондоне в июне 1982 года он так описывал ситуацию в Советском Союзе:

«В ироническом смысле Карл Маркс был прав. Мы сегодня являемся свидетелями гигантского революционного кризиса, кризиса, где требования экономического порядка находятся в прямом противоречии с требованиями политического порядка. Однако кризис этот происходит не на свободном, немарксистском Западе, а дома у марксизма-ленинизма, в Советском Союзе…

Сверхцентрализованная, обладающая ничтожными стимулами или вовсе ими не обладающая, советская система направляет большую часть самых ценных своих ресурсов на изготовление орудий разрушения. Постоянное падение показателей экономического роста наряду с ростом военного производства налагают тяжкое бремя на советский народ.

То, что мы видим, представляет собой политическую надстройку, более не соответствующую экономическому базису, общество, где производительные силы наталкиваются на препятствия со стороны сил политических».

Рейган полагал, что отношения с Советским Союзом улучшатся от разделенного с Америкой страха перед ядерным Армагеддоном. Он был преисполнен решимости довести до сведения Кремля весь риск непрекращающегося экспансионизма. Десятилетием ранее подобная риторика была чревата выходом из-под контроля внутриамериканского движения гражданского неповиновения и могла привести к конфронтации со все еще уверенным в себе Советским Союзом; десятилетием позднее она бы воспринималась как безнадежно устаревшая. В обстановке 80-х годов она закладывала фундамент беспрецедентного диалога между Востоком и Западом.

* * *

В 1981 году, во время выздоровления после покушения, Рейган направил Леониду Брежневу письмо, написанное от руки, где пытался развеять советскую подозрительность по отношению к Соединенным Штатам, – как будто семьдесят пять лет господства коммунистической идеологии могут быть устранены личным обращением. Это почти дословно соответствовало заверениям, которые в конце Второй мировой войны Трумэн предоставил Сталину:

«Часто делаются намеки на то… что мы вынашиваем

империалистические планы и потому представляем собой угрозу как вашей собственной безопасности, так и безопасности вновь нарождающихся наций. Но не только не существует доказательств, подкрепляющих это обвинение, а, напротив, имеются весомые доказательства того, что Соединенные Штаты, в то время как они могли бы господствовать над миром без всякого для себя риска, не делают ни малейших усилий в этом направлении… Да будет мне позволено заявить, нет абсолютно никакого основания для того, чтобы обвинять Соединенные Штаты в империализме или попытках навязать свою волю другим странам посредством применения силы…

Господин Президент, неужели нам, нашим народам, которые представляете вы и которые представляю я, не следует заняться устранением препятствий, мешающих осуществлению самых сокровенных устремлений?»

Как совместить умиротворяющий тон письма, автор которого явно полагает, что вполне можно доверять адресату, с заявлением Рейгана, сделанным всего лишь за несколько недель до направления этого письма, что советские руководители способны на любое преступление? Рейган не ощущал необходимости объяснять столь очевидное несоответствие, возможно потому, что глубоко верил в истинность обоих своих заявлений: в зло советского поведения и одновременно в возможность идеологического обращения советских лидеров.

А затем, после смерти Брежнева в ноябре 1982 года, Рейган направил написанную от руки ноту – 11 июля 1983 года – преемнику Брежнева, Юрию Андропову, вновь опровергая наличие у Америки каких бы то ни было агрессивных устремлений. Когда Андропов вскоре умер, а на его место пришел пожилой и немощный Константин Черненко (явно промежуточное назначение), Рейган сделал такую запись в дневнике, бесспорно предназначенном для публикаций:

«У меня какое-то подспудное чувство, что мне стоило бы переговорить с ним о наших проблемах, как мужчина с мужчиной, и посмотреть, удастся ли убедить его. Мне кажется, что Советы обретут материальную выгоду, если они присоединятся к семье наций, и т. д.».

Через шесть месяцев, 28 сентября 1984 года, Громыко нанес свой первый визит в Белый дом в период деятельности администрации Рейгана. И вновь Рейган делает запись в дневнике – в том смысле, что первейшей его задачей является устранение у советских руководителей подозрительности по отношению к Соединенным Штатам:

«Меня одолевает чувство, что, пока они будут так же

подозрительно относиться к нашим мотивам, как и мы – к их, с сокращением вооружений продвинуться невозможно. Я полагаю, что нам необходимо встретиться и как-то дать им понять, что у нас нет никаких враждебных замыслов в их отношении, но зато мы думаем, что у них имеются такие замыслы в отношении нас».

Коль скоро на протяжении жизни двух поколений поведение Советов было обусловлено подозрительностью к Соединенным Штатам, Рейган мог бы сделать вывод, что это чувство является органичным и неотъемлемым для советской системы. Пылкая надежда – особенно у столь откровенного антикоммуниста – на то, что советскую настороженность можно устранить одной-единственной беседой с министром иностранных дел (который, кроме всего прочего, лично представлял собой квинтэссенцию коммунистического правления), поддается объяснению лишь в свете непобедимой американской убежденности в том, что взаимопонимание между людьми – вещь нормальная, а напряженность представляет собой аберрацию, причем доверие может быть достигнуто самоотверженной демонстрацией доброй воли.

И потому случилось так, что Рейган, воплощение гнева Божьего, направленного на коммунизм, не видел ничего странного в том, чтобы так описывать вечер перед первой встречей с Горбачевым в 1985 году и состояние нервозного ожидания в надежде, что встреча разрешит конфликт, существующий на протяжении жизни двух поколений, – отношение, не свойственное Ричарду Никсону и скорее характерное для Джимми Картера:

«Еще во времена Брежнева я мечтал о встрече с глазу на глаз с советским руководителем, поскольку полагал, что таким образом можно осуществить то, чего не в состоянии сделать наши дипломаты, поскольку у них нет достаточной власти. Иными словами, я чувствовал, что, если переговоры ведут те, кто на самом верху, и если имеет место личная встреча на высшем уровне, и затем двое участников встречи выходят, держась за руки, и говорят: „Мы договорились о том-то и том-то“, – бюрократы уже не в состоянии испоганить договоренность. До Горбачева я не имел возможности проверить эту идею. Теперь у меня появился шанс».

Биограф Рейгана описывает одно из его «мечтаний», которое лично высказывалось и при мне:

«Одной из фантазий Рональда Рейгана как президента было то, как он возьмет с собой Михаила Горбачева и покажет ему Соединенные Штаты. Пусть советский руководитель увидит, как живет рядовой американец. Рейган часто говорил об этом. Он

представлял себе, как они с Горбачевым полетят на вертолете над рабочим поселком, увидят завод и автостоянку при нем, забитую машинами, а затем сделают круг над жилым районом, расположенным в живописной местности, где у заводских рабочих есть дома „с лужайками и задними дворами, где, возможно, на подъездной дорожке стоит вторая машина или лодка, – дома, непохожие на бетонные крольчатники, которые я видел в Москве“. Вертолет снизился бы, и Рейган пригласил бы Горбачева постучаться в двери и спросить жителей поселка, „что они думают о нашей системе“. А рабочие рассказали бы ему, до чего чудесно жить в Америке».

Рейган искренне верил, что его долгом является ускорить неизбежное осознание Горбачевым или любым другим советским лидером того факта, что коммунистическая философия ошибочна и что стоит только прояснить ложность советских концепций относительно истинного характера Америки, как вскорости наступит эра примирения. В этом смысле, несмотря на все свое идеологическое рвение, точка зрения Рейгана на сущность международного конфликта оставалась строго американско-утопической. Поскольку он не верил в наличие непримиримых национальных интересов, то не мог признать существование неразрешимых конфликтов между нациями. И считал, что, как только советские лидеры переменят свои идеологические воззрения, мир будет избавлен от споров, характерных для классической дипломатии. При этом он не видел промежуточных стадий между перманентным конфликтом и вечным примирением.

* * *

Со времени инаугурации Рейгана одновременно преследовали две цели: противодействие советскому геополитическому давлению, пока процесс экспансионизма не будет вначале остановлен, а затем обращен вспять; и, во-вторых, развертывание программы перевооружения, предназначенной для того, чтобы пресечь советское стремление к стратегическому превосходству и добиться стратегической лабильности.

Идеологическим инструментом перемены ролей был вопрос прав человека, которым Рейган и его советники воспользовались, чтобы подорвать советскую систему. Конечно, его непосредственные предшественники также утверждали важность прав человека. Никсон действовал подобным образом применительно к эмиграции из Советского Союза. Форд совершил

самый крупный прорыв посредством «третьей корзины» соглашений Хельсинки. Картер сделал права человека альфой и омегой своей внешней политики и пропагандировал их столь интенсивно применительно к американским союзникам, что его призыв к праведности то и дело угрожал внутреннему единству в этих странах.

Рейган и его советники сделали еще один шаг и стали трактовать права человека как орудие ниспровержения коммунизма и демократизации Советского Союза, что явилось бы ключом ко всеобщему миру, как подчеркивал Рейган в послании «О положении в стране», от 25 января 1984 года: «Правительства, опирающиеся на согласие управляемых, не затевают войны со своими соседями». В Вестминстере в 1982 году Рейган, приветствуя волну демократии, разливающуюся по всему миру, обратился к свободным нациям с призывом «…укреплять инфраструктуру демократии, систему свободной прессы, профсоюзы, политические партии, университеты, что позволяет людям выбирать свой собственный путь, развивать свою собственную культуру, разрешать свои собственные разногласия мирными средствами».

Призыв совершенствовать демократию у себя дома явился прелюдией к классической теме: «Если концу нынешнего столетия суждено быть свидетелем постепенного развития свободы и демократических идеалов, мы должны принять меры, чтобы оказать содействие кампании за демократию». Таким образом, команда Рейгана перевернула вверх ногами призывы времен раннего большевизма: не ценности «Коммунистического манифеста», но демократические ценности грядут, определяя собою будущее…

Задачей рейгановского геостратегического натиска было дать понять Советам, что они перенапряглись. Отвергая доктрину Брежнева относительно необратимости коммунистических достижений, Рейган своей стратегией отразил убежденность в том, что коммунизм может быть побежден, а не только сдержан. Рейгану удалось добиться отмены поправки Кларка, не позволявшей Америке оказывать помощь антикоммунистическим силам в Анголе, резкого усиления поддержки антисоветских афганских партизан, разработки крупномасштабной программы противостояния коммунистическим партизанам в Центральной Америке и даже предоставления гуманитарной помощи Камбодже. Это стало замечательной наградой единению американского общества: не прошло и пяти лет с момента катастрофы в Индокитае, как преисполненный решимости президент вступает в схватку со всемирной советской экспансией,

причем на этот раз добивается успеха.

Было сведено на нет большинство советских политических достижений 70-х годов, хотя отдельные из событий приходятся уже на период деятельности администрации Буша. Вьетнамская оккупация Камбоджи завершилась в 1990 году, а в 1993 году прошли выборы и беженцы стали готовиться к возвращению домой; в 1991 году завершился вывод кубинских войск из Анголы; поддерживаемое коммунистами правительство Эфиопии рухнуло в 1991 году; в 1990 году сандинисты в Никарагуа были вынуждены смириться с проведением свободных выборов – на подобный риск до того не готова была пойти ни одна правящая коммунистическая партия; и возможно, самым главным был вывод советских войск из Афганистана в 1989 году.

Все эти события заметно умерили идеологические и геополитические амбиции коммунизма. Наблюдая за упадком советского влияния в так называемом «третьем мире», советские реформаторы стали вскоре ссылаться на дорогостоящие и никчемные брежневские авантюры как на доказательство банкротства коммунистической системы, в которой, как они полагали, следовало срочно пересмотреть недемократический стиль принятия решений.

* * *

Администрация Рейгана добилась этих успехов, применяя на практике то, что потом стало именоваться «доктриной Рейгана»: оказание помощи Соединенными Штатами антикоммунистическим антизаговорщическим силам, выводящим свои страны из советской сферы влияния. Такой помощью были вооружение афганских моджахедов в их борьбе с русскими, поддержка «контрас» в Никарагуа и антикоммунистических сил в Эфиопии и Анголе. На протяжении 60 – 70-х годов Советы занимались подстрекательством коммунистических восстаний против правительств, дружественно настроенных к Соединенным Штатам. Теперь, в 80-е годы, Америка давала попробовать Советам прописанное ими же лекарство. Государственный секретарь Джордж Шульц разъяснил эту концепцию в речи, произнесенной в Сан-Франциско в феврале 1985 года:

«В течение многих лет мы наблюдали, как наши оппоненты без всякого стеснения поддерживали инсургентов по всему миру, чтобы распространять коммунистические диктатуры… Сегодня, однако, советская империя ослабевает под давлением собственных внутренних проблем и внешних обязательств… Силы

демократии во всем мире ценят наше с ними единение. Оставить их на произвол судьбы было бы постыдным предательством – предательством не только по отношению к храбрым мужчинам и женщинам, но и по отношению к самым высоким нашим идеалам».

Наиболее фундаментальным вызовом Рейгана Советскому Союзу явилось наращивание вооружений. Во всех своих избирательных кампаниях Рейган осуждал недостаточность американских оборонных усилий и предупреждал о надвигающемся советском превосходстве. Сегодня мы знаем, что эти опасения отражали чересчур упрощенный подход к характеру военного превосходства в ядерный век. Но независимо от точности проникновения Рейгана в сущность советской военной угрозы, ему удалось мобилизовать и привлечь на свою сторону консервативный круг избирателей в гораздо большей степени, чем Никсону при помощи демонстрации геополитических опасностей.

До начала деятельности администрации Рейгана стандартным аргументом радикального осуждения политики «холодной войны» являлся тот довод, что наращивание вооружений будто бы бессмысленно, поскольку Советы всегда и на любом уровне найдут ответ американским усилиям. Это оказалось еще более неточным, чем предсказание неминуемого советского превосходства. Масштаб и темпы американского наращивания вооружений при Рейгане вновь оживили сомнения, уже одолевавшие умы советского руководства в результате катастроф в Афганистане и Африке: могут ли они выдержать гонку вооружений в экономическом плане и – что еще более важно – могут ли они ее обеспечить в плане технологическом.

Рейган вернулся к системам вооружений, отвергнутым администрацией Картера, таким, как бомбардировщик B-1, и начал развертывание ракет MX – первых новых межконтинентальных ракет наземного базирования за десятилетие. Два стратегических решения способствовали больше всего окончанию «холодной войны»: развертывание силами НАТО американских ракет средней дальности в Европе и принятие на себя Америкой обязательств по разработке системы «стратегической оборонной инициативы» (СОИ).

* * *

Решение НАТО о развертывании ракет среднего радиуса действия (порядка 1500 миль) в Европе относится еще ко

временам администрации Картера. Целью его было успокоить западногерманского канцлера Гельмута Шмидта в связи с односторонним отказом Америки от так называемой нейтронной бомбы, запроектированной таким образом, чтобы сделать ядерную войну менее разрушительной, причем Шмидт поддерживал этот проект, несмотря на оппозицию со стороны собственной социал-демократической партии. Но на деле вооружение среднего радиуса действия (частично баллистические ракеты, частично запускаемые с земли крейсирующие ракеты) были предназначены для решения военной проблемы иного характера: противодействия значительному количеству новых советских ракет (СС-20), способных достичь любой из европейских целей из глубины советской территории. В сущности, доводы в пользу вооружений среднего радиуса действия были политическими, а не стратегическими и проистекали из той же самой озабоченности, которая двадцать лет назад породила дебаты между союзниками по вопросам стратегии; на этот раз, однако, Америка постаралась развеять европейские страхи.

В упрощенном смысле вопрос вновь стоял о том, может ли Западная Европа рассчитывать на ядерное оружие Соединенных Штатов в деле отражения советского нападения, имеющего своей целью Европу. Если бы европейские союзники Америки действительно верили в ее готовность прибегнуть к ядерному возмездию при помощи оружия, расположенного в континентальной части Соединенных Штатов или морского базирования, новые ракеты на европейской земле оказались бы ненужными. Но решимость Америки поступать подобным образом как раз и ставилась европейскими лидерами под сомнение. Со своей стороны, американские руководители имели собственные причины успокоительно ответить на опасения европейцев. Это являлось частью стратегии «гибкого реагирования» и давало возможность избирать промежуточные варианты между войной всеобщего характера, нацеленной на Америку, и уступкой советскому ядерному шантажу.

Существовало, конечно, и более замысловатое объяснение, чем просто сублимированное взаимное недоверие участников Атлантического партнерства. И оно сводилось к тому, что новое оружие поначалу будто бы объединяло стратегическую защиту Европы со стратегической защитой Соединенных Штатов. Утверждалось, что Советский Союз не совершит нападения обычными силами до тех пор, пока не постарается уничтожить ракеты средней дальности в Европе, которые, благодаря близости расположения и точности попадания, могут вывести из строя

советские командные центры, что позволит американским стратегическим силам беспрепятственно нанести всесокрушающий первый удар.

С другой стороны, нападать на американские ракеты средней дальности, оставляя американские силы возмездия нетронутыми, было бы также чересчур рискованно. Достаточное количество ракет средней дальности могло уцелеть и нанести серьезный урон, давая возможность находящимся в целости и сохранности американским силам возмездия выступить в роли арбитра происходящего. Таким образом, ракеты среднего радиуса действия закрывали бы пробел в системе «устрашения». На техническом жаргоне того времени оборона Европы и Соединенных Штатов оказывались «в связке»: Советский Союз лишался возможности нападать на любую из этих территорий, не порождая риск неприемлемой для него ядерной войны всеобщего характера.

Эта «связка» также являлась ответом на растущие страхи перед германским нейтрализмом по всей Европе, особенно во Франции. После поражения Шмидта в 1982 году социал-демократическая партия Германии, похоже, вернулась на позиции национализма и нейтрализма – причем до такой степени, что на выборах 1986 года один из ее лидеров, Оскар Лафонтен, утверждал, что Германии следует выйти из-под объединенного командования НАТО. Мощные демонстрации против развертывания ядерных ракет потрясали Федеративную Республику.

* * *

Почуяв возможность ослабить связь Германии с НАТО, Брежнев и его преемник Андропов сделали противостояние развертыванию ракет средней дальности стержнем советской внешней политики. Вначале 1983 года Громыко посетил Бонн и предупредил, что Советы покинут Женевские переговоры по контролю над вооружениями, как только «першинги» прибудут в Западную Германию, – угроза, способная воспламенить германских сторонников протеста. Когда Коль посетил Кремль в июле 1983 года, Андропов предупредил германского канцлера, что, если он согласится на размещение «Першингов-2», «военная угроза для Западной Германии возрастет многократно. Отношения между нашими двумя странами также обязательно претерпят серьезные осложнения. Что касается немцев в Федеративной Республике Германии и в Германской

Демократической Республике, им придется, как недавно кем-то было сказано (в „Правде“), глядеть друг на друга через плотный частокол ракет».

Московская пропагандистская машина развернула крупномасштабную кампанию в каждой из европейских стран. Массовые демонстрации, организованные различными группами сторонников мира, требовали, чтобы первоочередной задачей считалось разоружение, а не развертывание новых ракет, и чтобы немедленно был введен ядерный мораторий.

Как только казалось, что Германия поддается искушениям нейтрализма, что, в понимании Франции, означало национализм, французские президенты старались сделать максимально привлекательной для Бонна идею европейского или атлантического единства. В 60-е годы де Голль был бескомпромиссным сторонником германской точки зрения по Берлину. В 1983 году Миттеран неожиданно выступил в роли главного европейского сторонника американского плана развертывания ракет средней дальности. Миттеран защищал этот ракетный план в Германии. «Любой, кто играет в отделение Европейского континента от Американского, способен, по нашему мнению, разрушить равновесие сил и, следовательно, помешать сохранению мира», – заявил Миттеран в германском бундестаге. Совершенно ясно, что для президента Франции французские национальные интересы, связанные с размещением в Германии ракет средней дальности, оказались превыше идеологической общности между французскими социалистами и их братьями – германскими социал-демократами.

Рейган выступил с собственным планом отражения советского дипломатического натиска и предложил в обмен на отказ от развертывания американских ракет средней дальности демонтировать советские СС-20. Поскольку СС-20 явились скорее предлогом для развертывания американских ракет, чем его причиной, то это предложение порождало острейшие вопросы относительно «разрыва связки» между оборонительными системами Европы и Соединенных Штатов. Однако, хотя аргументы в пользу «связки» были весьма профессионально-замысловатыми, предложение относительно ликвидации целой категории вооружений было понять нетрудно. И поскольку Советы переоценили свои возможности и отказались обсуждать какую бы то ни было часть предложения Рейгана, так называемый «нулевой вариант» облегчил европейским правительствам процесс развертывания ракет. Это была убедительная победа для Рейгана и германского канцлера Гельмута Коля, который безоговорочно поддерживал американский план. И это доказало,

что неустойчивое советское руководство теряет способность запугивать Западную Европу.

Развертывание ракет средней дальности совершенствовало стратегию «устрашения»; но когда 23 марта 1983 года Рейган объявил о своем намерении разработать стратегическую оборону от советских ракет, он уже угрожал стратегическим прорывом: «… Я обращаюсь к научному сообществу нашей страны, к тем, кто дал нам ядерное оружие, чтобы они обратили теперь свой великий талант на дело выживания человечества и всеобщего мира: дали нам средства сделать это ядерное оружие бессильным и устаревшим».

Эти последние слова «бессильным и устаревшим», должно быть, бросили Кремль в холодную дрожь. Советский ядерный арсенал являлся ключевым элементом статуса Советского Союза как сверхдержавы. В течение двадцати лет пребывания Брежнева у власти основной целью СССР было достижение стратегического паритета с Соединенными Штатами. Теперь при помощи одного-единственного технологического хода Рейган предлагал стереть с лица земли все, ради чего Советский Союз довел себя до банкротства.

Если призыв Рейгана создать стопроцентно эффективную систему обороны хотя бы приблизится к воплощению в реальность, фактом станет американское стратегическое превосходство. Следовательно, американский первый удар обязательно увенчается успехом, поскольку оборонительная система сумеет сдержать относительно малые и дезорганизованные советские ракетные силы, уцелевшие к этому моменту. Как минимум, провозглашение Рейганом программы СОИ уведомило советское руководство, что гонка вооружений, которую они столь отчаянно начали в 60-е годы, либо полностью поглотит их ресурсы, либо приведет к американскому стратегическому прорыву.

* * *

Рейган превратил то, что прежде было бегом на марафонскую дистанцию, в спринт. Его конфронтационный стиль, граничащий с рисковой дипломатией, возможно, сработал бы в самом начале «холодной войны», когда еще не консолидировались обе сферы интересов, или сразу же после смерти Сталина. Именно на такого рода дипломатии настаивал, в сущности, Черчилль, когда вернулся на свой пост в 1951 году. Но как только раздел Европы был упрочен, а Советский Союз все еще чувствовал себя уверенно,

попытка силой навязать урегулирование наверняка вызвала бы крупномасштабный раскол в Атлантическом союзе и привнесла бы в него сильнейшую напряженность; большинство же членов его не желали ненужных испытаний на прочность. В 80-е годы советская стагнация сделала наступательную стратегию вновь возможной. Заметил ли Рейган степень дезинтеграции Советов, или его своеволие наложилось на благоприятные обстоятельства?

В конце концов, не важно, действовал ли Рейган инстинктивно или в результате анализа. К концу пребывания Рейгана на посту президента повестка дня переговоров между Востоком и Западом вернулась ко временам разрядки. Вновь контроль над вооружениями стал центральной темой переговоров между Востоком и Западом, хотя больший упор стал делаться на сокращение вооружений и появилась большая готовность к устранению целых классов вооружений.

Что касается региональных конфликтов, то тут Советский Союз выступал в роли обороняющейся стороны и лишился в значительной степени своих способностей быть инициатором беспорядков. А раз уменьшалась степень озабоченности вопросами безопасности, то по обеим сторонам Атлантики стал расти национализм, хотя по-прежнему провозглашалось единство среди союзников. Америка во все большей и большей степени стала полагаться на оружие, размещенное на собственной территории или имеющее морское базирование, в то время как Европа расширяла проработку политических вариантов, связанных с Востоком. Но в итоге эти негативные тенденции были перекрыты крахом коммунизма.

Радикальнее всего переменилось то, как политические взаимоотношения между Востоком и Западом стали представляться американской общественности. Рейган инстинктивно накладывал друг на друга идеологический крестовый поход и утопическое стремление ко всеобщему миру, прослаивая их жесткой геостратегической политикой периода «холодной войны», что одновременно импонировало двум основным направлениям американской общественной мысли в области внешней политики – миссионерскому и изоляционистскому, «теологическому» и «психиатрическому».

На деле Рейган был ближе, чем Никсон, к классическим схемам американского мышления. Никсон никогда бы не использовал по отношению к Советскому Союзу выражения «империя зла», но он также никогда бы не предложил ему полного отказа от всего ядерного оружия и не ожидал бы, что «холодная война» может кончиться путем грандиозного личного примирения с советскими руководителями во время одной-

единственной встречи. Идеологические устремления Рейгана служили ему защитой, когда он позволял себе наполовину пацифистские высказывания, за которые поносили бы президента-либерала. А его преданность делу улучшения отношений между Востоком и Западом, особенно в период второго срока пребывания на посту, наряду с достигнутыми им успехами, смягчали остроту его воинственной риторики. Остается сомнительным, сумел бы Рейган и далее до бесконечности балансировать на канате, если бы Советский Союз продолжал оставаться крупномасштабным соперником. Но второй срок пребывания Рейгана на посту президента совпал с началом распада коммунистической системы – процессом, ускоряемым политикой его администрации.

* * *

Михаил Горбачев, седьмой по счету высший советский руководитель начиная от Ленина, вырос в Советском Союзе, обладавшем беспрецедентной мощью и престижем. И именно ему было суждено председательствовать при кончине империи, создание которой было оплачено столь большой кровью и растратой национального богатства.

Когда Горбачев пришел к власти в 1985 году, он был руководителем ядерной сверхдержавы, находящейся в состоянии экономического и социального застоя. Когда же он вынужден был уйти с занимаемой должности в 1991 году, Советская армия оказала поддержку его сопернику Борису Ельцину, Коммунистическая партия была объявлена вне закона, а империя, возводимая на крови всеми русскими правителями, начиная с Петра Великого, развалилась.

Этот крах показался бы фантастикой в марте 1985 года, когда Горбачев был миропомазан на должность Генерального секретаря. Как это имело место в момент прихода к власти любого из его предшественников, Горбачев внушал как страх, так и надежду. Надежду на поворот к давно ожидаемому миру и страх зловещий по сути, исходящий от страны, чей стиль руководства – загадка. Каждое слово Горбачева анализировалось в поисках намека на ослабление напряженности; в эмоциональном плане демократические страны были вполне готовы открыть в Горбачеве зарю новой эры, точно так же они вели себя со всеми его предшественниками после смерти Сталина.

Но на этот раз вера демократических стран оказалась не только набором благих пожеланий. Горбачев принадлежал к

иному поколению, чем те советские руководители, чей дух был сломлен Сталиным. У него не было «тяжелой руки» прежних представителей «номенклатуры». В высшей степени интеллигентный и обходительный, он походил на несколько абстрактные фигуры из русских романов XIX века: космополитичный и провинциальный, интеллигентный, но несколько несобранный; проницательный, но лишенный понимания сути стоящего перед ним выбора.

Последовал едва слышный вздох облегчения: наконец как будто бы наступил долгожданный для внешнего мира и до того почти неуловимый момент советской идеологической трансформации. До самого конца 1991 года Горбачева считали в Вашингтоне до такой степени незаменимым партнером в строительстве нового мирового порядка, что президент Буш счел украинский парламент, как невероятно бы это ни выглядело, подходящим для себя местом, чтобы именно на этом форуме превознести до небес достоинства данного советского руководителя и заявить о важности сохранения единого Советского Союза. Удержание Горбачева у власти превратилось в основную цель западных политиков, убежденных в том, что с любым другим будет гораздо труднее иметь дело. Во время странного, по видимости антигорбачевского, путча в августе 1991 года все лидеры демократических стран сплотились на стороне «законности» в поддержку коммунистической конституции, поставившей Горбачева у власти.

Но высокая политика не делает скидок на слабость – даже если сама жертва тут ни при чем. Загадочность Горбачева достигла предела, когда он выступил в роли лидера-умиротворителя идеологически агрессивного, вооруженного ядерным оружием Советского Союза. Но когда политика Горбачева стала скорее отражением растерянности, чем конкретно поставленной цели, положение его пошатнулось. Через пять месяцев после провалившегося коммунистического путча он вынужден был уйти и уступить Ельцину посредством процедуры столь же «незаконной», как и та, что вызвала гнев Запада пять месяцев назад. На этот раз демократические страны быстро сплотились вокруг Ельцина, приводя в поддержку своих действий практически те же доводы, которыми пользовались некоторое время назад применительно к Горбачеву. Игнорируемый окружающим миром, который только что им восторгался, Горбачев вошел в зарезервированный для потерпевших крушение государственных деятелей круг прижизненно загробного бытия, преследуя цели, находящиеся за пределами их возможностей. Горбачев, однако, осуществил одну из самых значительных

революций своего времени. Он разрушил Коммунистическую партию, специально созданную для захвата и удержания власти и на деле контролировавшую все аспекты советской жизни.

После своего ухода Горбачев оставил за собой поколебленные остатки империи, напряженно собиравшейся веками. Организовавшиеся независимые государства, все еще боящиеся российской ностальгии по прежней империи, превратились в новые очаги нестабильности. Они испытывали угрозу одновременно со стороны своих прежних имперских хозяев и осколков различных некоренных этнических групп – часто именно русских, – возникших здесь за века русского господства.

Ни одного из этих результатов Горбачев даже отдаленно не предвидел. Он хотел добиться своими действиями модернизации, а не свободы; он попытался приспособить Коммунистическую партию к окружающему миру; а вместо этого оказался церемониймейстером краха той самой системы, которая его сформировала и которой он был обязан своим возвышением.

Валери Жискар д\'Эстен УГАСАНИЕ БРЕЖНЕВА (Из книги Валери Жискара дЭстена «Власть и жизнь»)

«Я – МАЛЫЙ КРЕПКИЙ!»

Свой первый официальный визит Леонид Брежнев нанес мне в декабре 1974 года, но мне довелось неоднократно встречаться с ним раньше, когда я был еще министром экономики и финансов при президенте Помпиду. Я возглавлял тогда французскую делегацию в так называемой Большой советско-французской комиссии, заседания которой поочередно проводились то в Париже, то в Москве.

Во время советско-французской встречи на высшем уровне в Пицунде президент Помпиду и Леонид Брежнев договорились проводить встречи в верхах ежегодно. Предусмотренная на конец 1974 года встреча должна была состояться во Франции.

После моего избрания на пост президента я подтвердил приглашение Леониду Брежневу и предложил провести встречу в Рамбуйе, вне Парижа, поскольку множество официальных кортежей блокирует движение и вызывает ненужное раздражение у парижан. К тому же рассчитывал на более продолжительные переговоры и надеялся, что в Рамбуйе нас будут меньше прерывать, чем в столице. Мне хотелось поглубже «прозондировать» моего собеседника, попытаться понять, как формируются его суждения, и выявить его самые чувствительные точки.

Замок Рамбуйе мне был хорошо знаком, я много раз приезжал сюда охотиться по приглашению генерала де Голля, а позже – президента Помпиду.

Ритуал во времена де Голля был неизменным и всякий раз восхищал меня как характерный штрих определенного стиля французской жизни.

Приглашенные ожидались к 8.30; из Парижа выезжали через мост Сен-Клу, пересекая утренний поток машин, идущих из пригорода с еще включенными фарами. В парк Рамбуйе мы въезжали через центральные ворота у дороги на Париж, которые специально открывали по случаю охоты. На протяжении всего пути от ворот, начиная с платановой аллеи и дальше за поворотом, ведущим к замку, стояли сотрудники республиканской службы безопасности. Мы объезжали замок справа и останавливались с задней стороны замка напротив большого пруда.

Пока из машин вынимали чемоданы, сапоги и ружья, и относили в комнату на третьем этаже, где после охоты можно было переодеться к обеду, в мраморном зале подавался завтрак, который мы ели стоя. Этот зал представляет собой удлиненную

галерею, занимает весь первый этаж и облицован в соответствии с модой школы Фонтенбло мрамором двух тонов красного цвета. На камине из пиренейского мрамора возвышалась позеленевшая от времени скверная гипсовая копия бюста Франциска I с загадочной, как у Джоконды, улыбкой.

Официанты в темно-синих фраках с золотыми пуговицами и в красных жилетах подавали кофе с молоком в чашечках из севрского фарфора и рогалики. Затем мы отправлялись на охоту. Генерал де Голль неизменно присоединялся к нам во время последней облавы, перед самым обедом. По совету своего адъютанта он становился позади одного из стрелков. Несколько раз этим стрелком оказывался я.

Я испытывал довольно странное ощущение, когда он, в пальто из грубой серой шерсти, стоял так близко за мной, на расстоянии протянутой руки; его силуэт немного смахивал на башню. Когда я оборачивался, чтобы заговорить с генералом, и встречался со взглядом его слегка косящих, близко посаженных глаз, увеличенных круглыми линзами очков, я слышал упреждение: «Смотрите! Слева от вас птица!» И действительно, над туями, высаженными в линию, я замечал светло-коричневого фазана – он планировал прямо ни меня, широко расправив крылья. Стало быть, я заблуждался, думая, что де Голль плохо видит.

На обед мы собирались в большой столовой замка. Здесь стоял затхлый запах сырости, свойственный редко открываемым помещениям. Серые, начинающие желтеть деревянные панели, непропорционально большое окно, выходящее на пруд, за которым по дороге в Ментенон мчались крохотные автомобили, – и не более десяти человек (число гостей всегда ограничивалось), сидящих за слишком большим для стольких сотрапезников столом, – все это делало столовую похожей на аквариум. Генерал де Голль обычно сидел спиной к окну, веселый и всегда учтивый, он вел или, точнее, направлял разговор.

После кофе он, не дожидаясь никого, уезжал. Наши машины следовали за ним в Париж, держась на почтительном расстоянии. На выезде из туннеля Сен-Клу наш кортеж распадался: кто – домой, кто – в министерство. Моя машина ехала вдоль Сены, мимо заводов «Рено» в направлении улицы Риволи. Через четверть часа я возвращался в свой кабинет, где меня уже поджидали лаконичные документы министерства финансов, и уходил с головой в решение неотложных проблем. Однако я все время ощущал привкус утреннего кофе с молоком и запах прелых листьев на потемневшей земле аллей парка.

* * *

Накануне визита Брежнева я отправился в Рамбуйе осмотреть апартаменты, отведенные советскому лидеру, проверить последние приготовления.

Было решено предоставить ему комнату Франциска I и примыкающие к ней жилые помещения. Комната эта находится на самом верху широкой фасадной башни замка. Ее так называют в честь короля Франциска I. Во время охоты в большом лесу, окружающем Рамбуйе, король внезапно заболел и нашел приют в замке своего вассала д\'Анженна. Через несколько дней Франциск I скончался, но где именно, никто точно так и не знает. Но поскольку комната над башней, пожалуй, единственная, которую не коснулись преобразования XVIII века и эпохи Империи, то считается, что здесь это и произошло.

Президент Венсан Ориоль, любивший в разгар охотничьего сезона проводить в Рамбуйе уик-энд, оборудовал рядом с комнатой Франциска I апартаменты в стиле «ар деко»: светло-желтое дерево и зеленая кожаная обивка. Один-единственный телефон модели 1950 года. Ответственные лица из ведомства национальной движимости суетились, подготавливая помещения для членов советской делегации, переводчиков и врача. Остальные члены «свиты» разместятся в Париже, в советском посольстве, и будут приезжать в Рамбуйе по мере необходимости.

Предполагалось, что в день приезда, в среду вечером, Брежнев пожелает отдохнуть и поэтому поужинает один в своих апартаментах. На следующий день по программе – общий завтрак с участием основных членов обеих делегаций, всего на восемь персон, а наша первая беседа наедине в присутствии лишь переводчиков была назначена на 17.30. На нее отводилось два часа.

Завтрак состоялся по графику, после чего мы разошлись. В 15 часов – первое послание: Генеральный секретарь спрашивает, нельзя ли перенести начало переговоров на 18 часов. Никаких объяснений. Я даю согласие и в небольшом кабинете, примыкающем к моей комнате, перечитываю материалы для беседы.

В 16.15 – новое послание: господин Леонид Брежнев хочет отдохнуть, нельзя ли начать переговоры в 18.30? Воображаю, какую реакцию это вызовет. По договоренности ход наших встреч не будет предан гласности. Однако допускаю, что произойдет утечка информации, и тогда легко предсказать комментарии: «Брежнев заставляет ждать Жискара! Никогда он не позволил бы себе такого по отношению к де Голлю! Он явно хочет показать,

какая между ними разница». Я передаю через генерального секретаря Елисейского дворца свой ответ: если мы хотим, чтобы у нас было достаточно времени для переговоров, откладывать их начало крайне нежелательно. Я буду ждать господина Брежнева в 18 часов в условленном месте.

По моей просьбе в небольшой комнате, завершающей анфиладу залов, разжигают камин. Эта комната отделана восхитительными резными деревянными панелями исключительно тонкой работы середины XVIII века с фигурками разных животных. Панели явно в плохом состоянии, маленькие кусочки отстают, кое-где видны трещины. Я отмечаю про себя, что их следует реставрировать.

* * *

Но вот вдали отворяется первая дверь. Брежнев движется мне навстречу. Он ступает нерешительно и нетвердо, словно на каждом шагу уточняет направление движения. За ним следуют его адъютант, которому на вид далеко за шестьдесят, – по-видимому, это врач – и переводчик. Поодаль, как обычно, довольно многочисленная группа советников в темных костюмах. Среди них я узнаю советского посла в Париже.

Я поджидаю Брежнева на пороге. Теплая встреча. Он обеими руками берет мою руку и трясет ее, обернувшись к переводчику. Он выражает свою радость по поводу нашей новой встречи, уверенность в том, что «мы сможем хорошо поработать на благо советско-французского сотрудничества», и приносит соболезнования по поводу кончины президента Помпиду. Глубоко посаженные живые глаза образуют косые щелки на его полном, расширяющемся книзу лице, скрывающем шею. По движению челюсти заметно, что у него нарушена артикуляция.

Служитель притворяет створки дверей. Я приглашаю Леонида Брежнева сесть возле камина. Переводчики достают, продолговатые блокноты, открывают первую страничку. Беседа начинается с обычных тем: приверженность делу мира и разрядки, значение советско-французского сотрудничества, которое можно считать образцовым. Но также и сетования:

– Мне докладывают, что ваши процентные ставки по-прежнему слишком высоки для наших заказов. Нам предлагают более выгодные условия, в частности, итальянцы и немцы. Мы готовы отдать предпочтение вам. Однако необходимо, чтобы ваши условия были по крайней мере такими же, как их, иначе мы найдем себе других партнеров.

У меня было такое чувство, будто я пребываю в своей прежней должности: эти вопросы долго и обстоятельно обсуждались на заседаниях Большой комиссии. Мне же хотелось поговорить с Брежневым о текущих проблемах: о его отношениях с американцами через четыре месяца после ухода Никсона; о том, как СССР, занимающий второе место в мире по добыче нефти, оценивает нефтяной кризис.

Я вижу, с каким усилием он произносит слова. Когда его губы двигаются, мне кажется, я слышу постукивание размякших костей, словно его челюсти плавают в жидкости. Нам подают чай. Он просит воды. Его ответы носят общий характер, скорее банальны, но звучат справедливо. Я понимаю, что он предпочитает не выходить за рамки знакомых ему тем. Он сожалеет об уходе Никсона.

– Хоть он и был нашим противником, с ним можно было вести переговоры.

Но в то же время он полагает, что президент Форд, опираясь на советы Генри Киссинджера, продолжит политику своего предшественника. И он переходит к нашим торговым отношениям.

– Что касается нефти, – говорит он, – то Советский Союз готов вам ее поставлять, но ее у нас сейчас не так уж много для экспорта, а ведь необходимо еще обеспечить нефтью страны Варшавского Договора. По этому вопросу ведутся сейчас переговоры.

Это справедливо, но аргумент не нов. Мы действительно ведем переговоры, но они начались еще несколько лет назад, до нефтяного кризиса, когда мы стали искать новые источники закупки нефти для удовлетворения потребностей ЭРАП и сбалансированности поставок нашего оборудования в СССР. Объем поставок нефти из Советского Союза с тех пор почти не изменился, мы получаем всего несколько миллионов тонн в год, и советская сторона не обещает существенного увеличения.

Дикция Брежнева становится все менее разборчивой. Все то же постукивание костяшек. Мы говорим уже пятьдесят минут. Я это отмечаю по своим часам, съехавшим на запястье. Однако если вычесть время, затраченное на перевод, то беседа длится вдвое меньше. Внезапно Леонид Брежнев встает – в дальнейшем я еще не раз столкнусь с этой его манерой – и тотчас же направляется к выходу. Он что-то говорит переводчику, вероятно, просит открыть дверь и предупредить адъютанта, который, как я догадываюсь, находится где-то совсем рядом. Как только Брежнев делает первый шаг, он перестает замечать присутствие других людей. Главное – контролировать направление движения.

– Мне нужно отдохнуть, – говорит он, расставаясь со мной, – вчера во время перелета было очень ветрено. Мы ведь еще увидимся за обедом.

* * *

На обед приглашены также Громыко, которому отведено место справа от меня, и наш министр иностранных дел Сованьярг (у них уже состоялась беседа), послы обеих наших стран и другие официальные лица и, наконец, переводчики: с нашей стороны – князь Андронников, директор курсов подготовки переводчиков при университете Дофин, во время официальных визитов в Москву он обязательно посещает русские церкви; с советской стороны – дипломат, похожий на англичанина, высокого роста, с тонкими чертами лица и преждевременной сединой, говорящий на литературном французском языке без малейшего акцента.

Обед сервирован в той же столовой, где де Голль устраивал свои охотничьи трапезы. Я на мгновение закрываю глаза и предаюсь воспоминаниям. Уже стемнело, но на большом окне нет ставен, все еще видны черные деревья по ту сторону пруда и высоко в небе стаи возвращающихся уток.

Прием пищи стоит Брежневу немалых усилий. Врач, сидящий в конце стола, не сводит с него глаз. Мы говорим мало и не очень содержательно. Сколько же банальностей произносится во время подобного рода встреч, за которыми бдительно следят издалека журналисты и в тревожном ожидании наблюдают народы разных стран!

Я смотрю на челюсть Генерального секретаря. Сумеем ли мы завтра хоть чуточку продвинуться, выйти за пределы безопасных общих мест, добраться до конкретного обсуждения ряда вопросов, что дало бы надежду на какое-то движение вперед?

Подан десерт. Затем я провожаю Брежнева до передней, выложенной черной и белой плиткой. Мы желаем друг другу доброй ночи. И я смотрю, как, повернувшись ко мне грузной спиной, он все той же неуверенной походкой удаляется в сопровождении небольшой «свиты» в направлении комнаты Франциска I, где ему предстоит провести ночь.

* * *

В соответствии с принципом взаимности мне предстояло посетить Москву в октябре 1975 года. Советская сторона

стремилась придать этой поездке характер официального визита, чтобы чередовать такого рода встречи с рабочими. В этой связи в предложенной нам программе переговоры перемежались целым рядом протокольных мероприятий. Меня сопровождали Анна Эмона и довольно многочисленная «свита», состав которой я постарался, однако, ограничить так, чтобы мы все уместились в одном самолете. Жить мы должны были в Кремле.

Комментарии французской печати касались прежде всего вопроса о том, какой прием уготован мне в Москве. Будет ли он обставлен с таким же блеском, как визиты де Голля и президента Помпиду? Правую печать волновало как раз обратное: не станет ли Жискар, заявивший о своей приверженности голлизму, чрезмерно податливым с советскими?

Мне эта поездка не представлялась простой, однако по иным причинам. Я не верил в полезность торжественных протокольных мероприятий и понимал, что притягательность новизны, которой подобные встречи обладали в те времена, когда Франция выступала инициатором политики разрядки между Западом и Востоком, существенно притуплялась по мере того, как наши американские, немецкие и английские партнеры принялись, в свою очередь, развивать прямые контакты с Москвой. Пышность приемов, как и народное воодушевление, стала привычной.

Главное теперь заключалось в содержании бесед. Сохранила ли Франция как дипломатический партнер Советского Союза преимущество, полученное благодаря инициативам генерала де Голля? Или же наши собеседники намеревались использовать прецедент встречи с нами для развития более важных, с их точки зрения, отношений с Западной Германией? Сумею ли я распознать их подлинные намерения в военной области? Не стремились ли они подтолкнуть Францию на путь фактического нейтрализма, заверяя нас в значимости ядерного сдерживания для обеспечения нашей безопасности с единственной целью – ослабить военный потенциал Атлантического блока? Или же они рассматривали наши ядерные силы как угрозу для самих себя, серьезно подрывающую их шансы на вторжение в Европу и на победу в случае военного конфликта с Западом?

* * *

Что касается характера встречи, то я очень быстро прояснил для себя этот вопрос. При официальных визитах самолеты приземляются в аэропорту Шереметьево на северо-востоке Москвы, где для них выделена специальная посадочная площадка.

Советские руководители, встречающие нас, выстроились в ряд. Вот они двинулись к трапу самолета. Группки московских школьников в сопровождении молодых учительниц размахивают маленькими бумажными флажками – трехцветными и красными. Я их приветствую, хотя в глубине души убежден, что они на самом деле не знают, кто я такой. Конечно же, они радуются – эта прогулка куда веселей, чем урок в школе; лица их раскраснелись от свежей прохлады ранней осени, но им вряд ли холодно: на них зимние спортивные курточки, девочки – в шерстяных чулках.

Затем кортеж направляется в Москву. Мы пересекаем березовую рощу с прозрачным подлеском и вскоре проезжаем мимо монумента, символизирующего железные противотанковые ежи и установленного в том месте, где немецкие войска в декабре 1941 года ближе всего подошли к Москве. Говорят, это не совсем то место. Во всяком случае, думаю я, где-то в этих краях Гельмут Шмидт во время немецкого наступления наблюдал отсветы бомбежек Москвы над черными стволами деревьев и заснеженными полями.

Затем мы едем вдоль нескончаемых бульваров, где остановлено и без того не слишком оживленное движение, минуем пригород Москвы. Наконец мы в городе. Широкий проспект, который заканчивается поворотом к мосту через Москву-реку и к въезду в Кремль. Именно здесь и собралась толпа любопытных, на нее нацелены телевизионные камеры; впоследствии это позволит говорить о народном энтузиазме.

Точно такой же путь я, тогда еще министр финансов, проделал двумя годами раньше – в июле 1973 года. Была точно такая же толпа, поджидавшая кого-то, но явно не меня. Мне объяснили, что премьер-министр Вьетнама господин Фам Ван Донг прибывает в Москву с официальным визитом. Тогда мне показалось, что на тротуарах столпилось несколько десятков тысяч людей. Я понял, чем объясняется это скопление зрителей, когда заметил чинно выстроившиеся в переулках длинные колонны грузовиков; на них, по-видимому, и доставили сюда всех этих людей.

* * *

На этот раз по случаю моего приезда народу собралось значительно меньше. По тротуарам вдоль проспекта идут пешеходы, вполне равнодушно взирающие на наш кортеж. Представляю себе реакцию журналистов, которые следуют в машинах прессы в каких-то десяти метрах позади нас.

Но, оказывается, советская сторона подготовила горячее приветствие на последнем повороте. Я еще издали разглядел силуэты крытых брезентом грузовиков. Люди, стоящие в несколько рядов, аплодируют. В их руках, словно по счастливой случайности, множество трехцветных флажков.

Леонид Брежнев – он сидит в машине слева от меня – доверительно сообщает мне через разместившегося напротив переводчика:

– Видите, как горячо москвичи приветствуют вас!

Он считает, что все очень хорошо организовано.

Я предпочитаю высказать свое мнение:

– Мне кажется, народу не так уж много. Он удивлен, почти растерян.

– Ведь это будний день, большинство людей на работе.

Я не отвечаю. К чему продолжать этот разговор? У меня перед глазами картина выстроенных в ряд грузовиков, которые, по-видимому, перевозят заводских рабочих.

Вот и Москва-река, вдоль нее во всем своем великолепии тянется Кремль. Не то крепость, не то монастырь, разукрашенный золотом и окруженный башнями в стиле «Диснейленда», но русская мощь и продолжительная кровавая борьба с татарами придали ему суровый и самобытный облик.

Проезжаем под сводчатыми воротами и сворачиваем налево вдоль первого жилого здания. Мы с Леонидом Брежневым вместе входим в здание, и он провожает меня до лифта, здесь ко мне присоединяется Анна Эмона.

Мы поднимаемся в отведенные для нас комнаты, недавно отремонтированные, обставленные опрятно и довольно безвкусно. Но паркет восхитителен. На столиках – минеральная вода с открывалками в виде красных кремлевских звезд и вазы, полные шоколадных конфет в разноцветных блестящих обертках.

Кто здесь жил? Согласно «Голубому гиду»– члены императорской семьи, затем, в начале XX века, сам император Николай II.

* * *

На 19 часов после первой беседы с глазу на глаз назначен официальный обед в Грановитой палате Кремля. Брежнев и я, стоя рядом, встречаем гостей. Приглашено около двухсот человек. Они представляются по очереди, вначале проходит французская делегация, затем приглашенные с советской стороны и, наконец, журналисты.

Брежнев выглядит усталым, но, должно быть, принял изрядную дозу допинга. Мы входим в зал, на стенах – фрески, неистовые и великолепные. Нам рассказывают об изображенных в военных доспехах прославленных деятелях Великого Московского княжества. Потолок низкий, точно в логове Ивана Грозного.

Мы с Брежневым сидим друг против друга. Чтобы занять свое место, мне приходится обойти ряд советских приглашенных и высших чиновников. Узнаю Суслова по пышной белой шевелюре, венчающей его лицо стареющего студента.

Брежнев зачитывает свою речь. Он говорит отрывисто, по-видимому, из-за усталости, и от этого его фразы, в переводе вполне банальные по смыслу, воспринимаются как угроза.

Этот тон почти сводит на нет и сердечность приветственных слов, и ритуальные любезности, и бесконечное подчеркивание значения советско-французских отношений.

Наступает мой черед говорить. Я готовил свою речь в Елисейском дворце, взяв за основу замечательный проект, подготовленный моим дипломатическим советником Габриелем Робэном.

Я добавил в него два новых момента. Во-первых, мне хотелось отметить, что, если мы желаем закрепить достижения последних десяти лет, нам необходимо перейти от сосуществования, ограничивающегося признанием права на существование каждого из нас, к сотрудничеству, означающему совместную работу во имя решения конкретных проблем.

Во-вторых, сделать своего рода предостережение: все сильнее проявляется несоответствие между продолжением разрядки и идеологической конфронтацией. Я хотел выразить советской стороне свое недовольство в связи с распространенным в советской печати и средствах массовой информации резким заявлением, осуждающим империализм, о котором, как, должно быть, полагали наши собеседники, нам ничего не было известно. Между тем в нем нас обличали заодно с американцами и «реваншистами» Федеративной Германии.

Я встаю и готовлюсь говорить. Сбоку от себя вижу Суслова, его внимание приковано к тарелке. Не похоже, чтобы Брежнев внимательно следил за переводом моего выступления. Когда я закончил, он аплодирует с вежливым энтузиазмом, затем с бокалом в руках произносит несколько тостов. Мы поднимаемся, и неожиданно по-детски он берет меня за руку, чтобы выйти из зала. Хорошее настроение и радушие вновь при нем.

Расставаясь, он повторяет, что будет ждать меня завтра во второй половине дня.

– Нам потребуется много времени – предстоит проделать

большую работу.

Наши апартаменты расположены в другом здании, с противоположной стороны Оружейной палаты, и, чтобы добраться до них, мы идем по длинным коридорам, опоясывающим всю территорию Кремля. Анна Эмона и я на минутку задерживаемся в часовне, где Лев Толстой венчался с дочерью придворного врача. Возвращаемся в свои безликие покои и закрываем дверь. На окнах ставен нет. Напротив виднеется угловатая масса кремлевских зданий. Небо чистое. Город затих. Я засыпаю под воображаемое баюканье безграничных русских степей и лесов.

* * *

По моей просьбе на утро следующего дня было предусмотрено посещение Дома-музея Льва Толстого в Ясной Поляне. Это имение расположено недалеко от Тулы, в ста километрах южнее Москвы. Мы прилетели в Тулу на самолете, оттуда до усадьбы ехали на машинах.

Деревянный дом, просторный и строгий, с инкрустированным паркетом. Комнаты расположены хаотично. На стенах гостиной – портреты членов семьи, родителей, дедушек и бабушек Толстого. Среди них я с удивлением обнаруживаю знакомое лицо: артист, исполнявший роль старого князя Болконского в фильме «Война и мир», воспроизвел его с большой точностью. Прообразом этого героя был дед Толстого. В соответствии с русским обычаем сохранены и личные вещи писателя: верхняя одежда – на вешалках, обувь – в нижней части шкафов. На шероховатой поверхности деревянного стола Толстого кое-где видны чернильные пятна, в письменном приборе – стальные перья.

Мы дошли до могилы Толстого. Он похоронен на краю оврага в березовой роще, в том самом месте, где, как рассказывал ему в детстве брат Николай, зарыта зеленая палочка, на которой Николай написал тайну, как сделать, чтобы «все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы». Я вспомнил, как семьдесят лет спустя уже в расцвете славы Толстой трогательно писал: «…И палочка эта зарыта у дороги на краю оврага, в том самом месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть меня, просил в память о Николеньке закопать меня». И я возложил на небольшой могильный холмик цветы, привезенные из Москвы.

* * *

На обратном пути, в самолете, я узнаю, что появились какие-то сложности с проведением беседы с Леонидом Брежневым во второй половине дня. Мне сообщают, что он свяжется со мной, когда я приеду в Москву.

В наших кремлевских апартаментах должен состояться частный завтрак. Войдя в переднюю, я застаю членов французской делегации в крайнем возбуждении: Брежнев, кажется, отказывается от встречи. Слишком хрупкие латинские нервы не выдерживают таких сюрпризов. Мои сотрудники набились в мой кабинет.

– Вы не должны это допустить! Журналисты уже в курсе. Они передают в Париж, что Брежнев наносит нам оскорбление!

– Откуда исходит эта новость? – спрашиваю я.

– От советской делегации. Кажется, Брежнев сам нам позвонит.

Мое сердце бьется медленнее, как всегда в кризисных ситуациях – малых или больших, и это помогает мне контролировать свои реакции. Почему такое волнение? Если Брежнев отказывается – значит, есть на то какая-то причина. Если эта причина оскорбительна для меня, я уеду – и дело с концом! Если отказ оправдан, ему придется объясняться, но это уже проблема советской стороны.

Действительно, один из членов советской делегации просит меня принять его. Он сообщает, что господин Брежнев желает переговорить со мной по телефону.

Нас соединяют.

Брежнев произносит по-русски несколько слов, которые я не понимаю. Затем подключается переводчик:

– Генеральный секретарь приносит свои извинения. Он плохо себя чувствует. Он был болен уже вчера, но хотел встретить вас в аэропорту. Он простудился и плохо спал этой ночью.

Я слышу, как они о чем-то говорят.

– Господину Брежневу необходимо отдохнуть сего дня. Он просит вас в порядке личного одолжения (я фиксирую формулировку) согласиться на изменение в ва шей программе. Осмотр Бородина намечен на пятницу, но вы могли бы съездить туда сегодня во второй полови не дня. Тогда мы перенесли бы сегодняшние переговоры на пятницу. Господин Брежнев просит вас согласиться на это, так как сильно утомлен.

Он настаивает, и его объяснение выглядит вполне убедительным. Я догадываюсь, как это воспримут мои сотрудники, которые, в свою очередь, будут думать о реакции средств массовой информации: «Вам ни в коем случае не следовало соглашаться, посмел бы он так поступить с де Голлем!

Брежнев мог бы выдержать часовую беседу!»

В моем распоряжении три секунды для того, чтобы принять решение. Пытаюсь взвесить: «за» – диктует жизнь, «против» – требует власть.

Я даю ответ:

– Согласен перенести переговоры на пятницу. Надо проследить за реакцией прессы. Она, конечно же, будет негативной. Вам надлежит дать объяснение, почему встреча перенесена, сказать о причинах этого и взять на себя ответственность за изменения в программе. Пере дайте господину Брежневу, что я желаю ему хорошо от дохнуть и поскорее поправиться.

* * *

Таким образом, из-за этих осложнений я отправился во второй половине дня в Бородино.

Я сам, еще на этапе подготовки визита, выразил желание посетить поле битвы у Москвы-реки, которое русские называют Бородинским. Насколько мне известно, никто из глав французского государства не бывал в Бородине с тех пор, как в августе 1812 года Великая армия ценой кровавых потерь силой проложила там себе путь на Москву.

Мне хотелось воздать должное нашим соотечественникам из Пуату или Пикардии, которые пешком прошли по Европе и проникли в глубь России. Они сражались храбро и жестоко в течение долгого дня, считая его решающим, но сумели лишь прогнать с поля боя поредевшие русские полки, отступившие, чтобы перестроиться и стать неуловимыми.

Я пригласил сопровождать меня начальника генштаба генерала Ван-Бремера, который в двадцать лет был депортирован в Германию, – человека, отличающегося уравновешенным и прозорливым умом и исключительным чувством собственного достоинства. Кроме того, я попросил приехать из Парижа генерала Даву д\'Ауэрштедта, в то время он был директором Музея армии. Мне хотелось, чтобы в Бородино меня сопровождал представитель одной из известных французских фамилий времен Империи.

В романе «Война и мир» Толстой создал поразительную картину Бородинского сражения. Он как одержимый работал над посвященными сражению главами в комнате со сводами – своем кабинете в Ясной Поляне, собрав все относящиеся к сражению документальные материалы.

Ничто не ускользнуло от его внимания: ни цвет лацкана на мундире, ни вид гноящегося обрубка человеческого тела, разорванного ядром, ни стон, слабый стон умирающего в муках, взывающий об утешении.

Летом я специально перечитал эту часть романа, изданного «Плеядой», и проследил по карте передвижение войск.

Мы вышли из машины. Перед нами открывался вид на поле сражения; оно было совсем не таким, как я рисовал его в своем воображении: гораздо меньше, не такое холмистое, человеческий голос доносится с одного конца поля на другой.

Я направился к небольшому кургану, на котором теперь установлен мемориальный обелиск. Отсюда Наполеон следил за ходом сражения, не отнимая подзорной трубы от глаз и подняв воротник сюртука, так как у императора был насморк.

Под осенним солнцем все вокруг словно вновь оживало, пейзаж стал буколическим. Слева перед нами возвышался центральный курган, где располагался знаменитый редут, ощетинившийся стволами русских пушек; он играл решающую роль во всем сражении. Сейчас это лишь небольшой пригорок, высотой в несколько метров; чтобы взобраться на него, нужно сделать всего десять шагов.

Мысленно воображаю последнюю атаку, крики, дым, вспышки пламени по всему горизонту. Справа, в березовой роще, польская конница Понятовского совершает продолжительный кружной маневр. Слева горизонт чист. По рельефу местности нетрудно угадать, где были укрытия, в которых солдаты, втянув головы в плечи, ждали приказа к наступлению. За ними, в тылу, стояло подкрепление, сформированное из итальянской гвардии Эжена Богарне.

Вдали от нас, за пределами видимости, находилась деревня Горки, где в тени дома на лавке, покрытой ковриком, сидел, вытянув вперед свои короткие ноги, Кутузов. Оттуда, как пчелы из улья, разлетались во все стороны его адъютанты, развозившие приказы сдержать, а затем измотать наступающих французов, – до тех пор, пока ему не пришлось смириться и дрожащими от унижения губами и со слезами ярости на выцветших глазах отдать приказ об отступлении.

В нашем распоряжении – всего один час, потому что нужно было вернуться вовремя, чтобы присутствовать на спектакле Большого театра во Дворце съездов. Мы ехали в Москву в сгущающихся сумерках. Машина бесшумно катила в Кремль.

* * *

Только в пятницу, в конце нашей последней беседы, Брежнев сам поведал мне истинные причины изменения программы. В интервью, с которым я в среду выступил по первому каналу французского телевидения, я не стал намекать на состояние здоровья Брежнева, а службе информации французского посольства было дано твердое указание также соблюдать конфиденциальность, что и было выполнено.

В конце моего пребывания пресса подчеркнула «деликатность», проявленную французской делегацией. Однако в информационном обществе такого рода запоздалый комплимент не мог стереть первоначальное неблагоприятное впечатление.

Что же запомнится из этих дней? «Оскорбление», нанесенное Брежневым? Или же более реалистическое понимание того, что, если не считать некоторых деталей, в рамках франко-советского сотрудничества, чью траекторию тщательно и осмотрительно формируют обе стороны, события развиваются так, как того и следовало ожидать? Если только не просочится и не разнесется мгновенно, как молния, информация об истинном состоянии здоровья Брежнева. Но я тут буду ни при чем.

* * *

Четыре года спустя, в апреле 1979 года, Леонид Брежнев вновь встречал меня в аэропорту Шереметьево. На этот раз все было скромнее. Уже без школьников. Это был рабочий визит. Я гадал, приедет ли Брежнев в аэропорт или же пришлет кого-нибудь вместо себя, так как слухи о плохом состоянии его здоровья распространились во всем мире. Он часто отменял визиты к нему из-за рубежа.

Через иллюминатор самолета я сразу увидел его – в сером пальто и фетровой шляпе с шелковой лентой. Рядом с ним – Громыко и сотрудники МИД.

Спускаюсь по трапу. Как все-таки приятно, что народу немного и мне не придется стоять по стойке «смирно», деланно улыбаться и принимать цветы в целлофане!

Мы садимся в громадную черную машину Брежнева, и кортеж неспешно направляется в Москву.

Наши переводчики сидят напротив нас. У меня теперь новый переводчик. По неизвестным мне причинам – скорее всего, из-за преклонного возраста – Андронников вышел на пенсию. Его заменила молодая женщина русского происхождения Катрин Литвинова. Я спросил, состоит ли она в родстве с бывшим советским наркомом иностранных дел, которого знал лишь по

фамилии.

– Да, – ответила она мне, – но родство очень дальнее. По матери я из казаков.

Она старательно поджимает колени, чтобы не задеть нас. Леонид Брежнев с некоторым удивлением разглядывает ее смазливое личико со светлой кожей славянки. Ее акцент, несомненно типичный, ласкает слух. Брежнев сразу же принимается пояснять:

– Я приехал встретить вас в аэропорт вопреки мнению моего врача. Он запретил мне это. Вам, должно быть, известно, что в последнее время я отказываюсь от визитов. Но я знаю, что вы содействуете развитию добрых от ношений между СССР и Францией. Я не хотел бы, чтобы мое отсутствие было неверно истолковано. Вы наш друг.

Он сидит, откинувшись назад, в своем сером пальто. На лбу проступают капельки пота. Он вытирает его платком.

Я благодарю его. Говорю такие банальные фразы, что самому стыдно от их плоскости. Моя переводчица придает им теплоту, говоря высоким голосом в нос, с гортанным придыханием. За окном знакомые виды, все то же мелькание берез.

* * *

Брежнев снова начинает говорить. Он произносит по-русски какую-то короткую фразу, не напрягая голоса.

Переводчик воспроизводит ее почти так же – отрешенным и спокойным тоном.

– Должен признаться, я очень серьезно болен.

Я затаил дыхание. Сразу же представляю, какой эффект могло бы произвести это признание, если бы радиостанции разнесли его по всему миру. Знает ли он, что западная печать каждый день обсуждает вопрос о его здоровье, прикидывает, сколько месяцев ему осталось жить? И если то, что он сказал мне, правда, способен ли он в самом деле руководить необъятной советской империей?

Между тем он продолжает:

– Я скажу вам, что у меня, по крайней мере как мне говорят врачи. Вы, наверное, помните, что я мучился из-за своей челюсти. Вы, кстати, обратили на это внимание в Рамбуйе. Это раздражало. Но меня очень хорошо лечи ли, и все теперь позади.

В самом деле, кажется, дикция стала нормальной и щеки уже не такие раздутые. Но с какой стати он сообщает это все мне? Понимает ли он, чем рискует? Отдает ли себе отчет в том, что

рассказ об этом или просто утечка информации будут губительны для него?

– Теперь все намного серьезнее. Меня облучают. Вы понимаете, о чем идет речь? Иногда я не выдерживаю, это слишком изнурительно, и приходится прерывать лечение. Врачи утверждают, что есть надежда. Это здесь, в спине.

Он с трудом поворачивается.

– Они рассчитывают меня вылечить или по крайней мере стабилизировать болезнь. Впрочем, в моем возрас те разницы тут почти нет!

Он смеется, сощурив глаза под густыми бровями. Потом следуют какие-то медицинские подробности, касающиеся его лечения, запомнить их я не в состоянии.

Он кладет мне руку на колено – широкую руку с морщинистыми толстыми пальцами, на ней словно лежит печать тяжелого труда многих поколений русских крестьян.

– Я вам говорю это, чтобы вы лучше поняли ситуацию. Но я непременно поправлюсь, увидите. Я – малый крепкий!

* * *

Вдруг он неожиданно меняет тон:

– Вы хорошо знаете президента Картера. Что вы о нем думаете?

Я отвечаю:

– Пока что я встречался с ним всего два раза. Он хорошо прорабатывает вопросы. Ему не хватает опыта в международных делах, однако он способен довольно быстро вникнуть в суть проблемы.

– Нет, я не об этом. Я спрашиваю, что вы думаете о нем как о человеке. За кого он меня принимает?

Брежнев горячится, сам себя заводит, в конце концов кипит от обиды:

– Он без конца шлет мне письма, очень любезные письма. Но я не просил его мне их писать!

Я говорю:

– Он мне тоже пишет. Он пишет Шмидту, пишет Каллагэну. Похоже, что у него такая привычка.

Но Брежнев уже не слушает меня. Он продолжает раздраженно говорить сам с собой:

– И вот он шлет мне все эти письма. А затем в конце недели отправляется куда-нибудь на Средний Запад или в какой-нибудь университет. И там начинает меня оскорблять! Он обзывает меня

так грубо, что я никак не могу этого стерпеть. Он считает, будто я об этом ничего не знаю. Но я получаю все его речи. Значит, по его мнению, со мной можно так обходиться! Да что же он за человек? Что о себе воображает?

Негодование бьет через край. Он явно глубоко задет, чувствует себя обманутым. По-видимому, советскому лидеру оскорбления не столь привычны, как нам! Но и на самом деле бесконечный поток записок и писем от Джимми Картера начинает надоедать.

Брежнев замолкает. Его возбуждение спадает. Мы подъезжаем к Москве. До самого приезда он не произносит ни слова. Переводчики сидят молча, как их обязывает профессиональная этика.

И вот я у того же самого въезда в Кремль, у того же лифта, в тех же апартаментах, только на этот раз без Анны Эмоны.

На следующий день состоялось несколько бесед по конкретным проблемам, и я с удивлением отмечаю, как точно сохранились у него в памяти целые фразы, сказанные во время наших предыдущих встреч. Он никогда больше не вернется к вопросу о своем здоровье.

ТАЙНА ПРЕЕМНИКА БРЕЖНЕВА

Весной 1977 года двум продюсерам телепередачи «Рентген», идущей по «Антенн-2», Жан-Пьеру Элькаббашу и Пьеру Сабба пришла идея подготовить передачу под названием «Двадцать пять лицеистов в гостях у президента республики». Я согласился. Эта передача с участием Жака Шанселя и Жан-Пьера Элькаббаша состоялась 8 июня 1977 года. Продюсеры набрали лицеистов, мальчиков и девочек, парижан и провинциалов самого разнообразного социального происхождения. Каждый из них мог задать любой вопрос. Я пытался на него ответить.

Один из лицеистов спросил меня:

– Вот вы глава государства, можете ли вы управлять страной, не прибегая ко лжи? Есть ли, на ваш взгляд, связь между моралью и политикой?

Я ответил ему, что управлять, не прибегая ко лжи, можно и, как мне кажется, я поступал именно так в течение трех лет, однако существует ряд секретов, не подлежащих огласке. И добавил:

– Но секретов гораздо меньше, чем обычно полагают! В настоящий момент я, вероятно, знаю три или четы ре важных секрета, не больше.

Жан-Пьер Элькаббаш тут же попросил меня уточнить, что я имею в виду. Я ответил:

– Я имею в виду секреты, касающиеся министерства внутренних дел, возможных научных открытий. Со временем они станут известны. Что касается внешней поли тики, то речь идет о предстоящих событиях и мы обладаем информацией о том, что может произойти в ближайшем будущем.

На что я намекал?

Помню, как я пытался быстро назвать самому себе государственные тайны, которые мне казались наиболее важными, в том числе имя человека, которого Брежнев избрал своим преемником…

Одна лицеистка спросила меня высоким приятным голоском:

– Не могли бы вы нам о них рассказать?

– Нет! Не могу! Даже если вы будете соблюдать тайну, они перестанут быть государственными секретами!

Взрывы смеха. Мы переходим к другому вопросу.

* * *

Итак, первая тайна, о которой я подумал, отвечая Жан-Пьеру Элькаббашу – имя преемника Брежнева. Его сообщил мне но секрету Эдвард Герек, Первый секретарь Польской коммунистической партии.

Время от времени я вел с Тереком довольно откровенные беседы: этому способствовало его происхождение и воспитание: Герек родился в семье польского шахтера, эмигрировавшей во Францию в двадцатые годы. Позже, когда отец скончался, мать Терека вторично вышла замуж за другого шахтера, тоже поляка, работавшего на угольных шахтах севера Франции. Таким образом, вплоть до войны он воспитывался среди французов и бегло говорил на нашем языке. Партийная молодость Терека началась с его вступления в ряды французской молодежной коммунистической организации; затем уже в Бельгии, во время оккупации он был активистом местной компартии.

Его жизнь во Франции, в частности в провинции Овернь, его незыблемый патриотизм – в беседах он через каждые десять слов говорил «Польша» или «польский» – все это составляло общий фон наших бесед. Мы знали друг друга достаточно хорошо, чтобы иметь ясное представление о наших взглядах и убеждениях и не стараться повлиять на них. Мы могли говорить как представители двух систем, двух держав, не нападая друг на друга и не пытаясь друг друга разоблачить. Это позволяло каждому из нас ближе познакомиться с точкой зрения противника и как бы взглянуть на нее изнутри.

Я задавал ему прямые вопросы: «Почему вы решили стать коммунистом?»; «Верите ли вы на деле, что коммунистический строй способен обеспечить успешное развитие польской экономики?»; «Как ваша мать, католичка, относится к тому, что вы возглавляете польское коммунистическое государство?»

Он отвечал мне без обиняков, зачастую пускаясь в долгие объяснения, возвращаясь к началу своего жизненного пути; иногда с волнением и с долей грустного юмора рассказывал о некоторых эпизодах из своей личной жизни и о тяжелых условиях, в которых проходило его детство.

Когда интересы наших двух стран совпадали, как, например, во многих областях экономического и финансового сотрудничества, он был корректным и надежным собеседником.

* * *

Эдвард Герек был личным другом Брежнева. Он сообщил мне (хотя я и не могу ручаться за достоверность его слов, так как

наша разведывательная служба не имела ни одного гражданского агента в Советском Союзе), что мать Брежнева была полькой.

Брежнев это скрывал, поскольку русские к полякам относятся с сарказмом и презрением. Тем не менее польский был в прямом смысле его родным языком, и с Тереком они нередко говорили по телефону по-польски.

Летом Герек отдыхал в Крыму, на даче, расположенной по соседству с дачей Брежнева. Они часто встречались и, по-видимому, вели доверительные беседы.

В октябре 1976 года я нанес Тереку официальный визит в переданной в его распоряжение резиденции, находящейся на юге Польши, в карпатских лесах, неподалеку от границы Советского Союза. Мне довелось там увидеть, как внезапно обрушивается русская зима, и я отчетливо представил себе, какое суровое испытание выпало на долю солдат Великой армии при отступлении. Накануне моего приезда стояло, говорят, еще лето, зеленое и солнечное, однако неожиданно разбушевалась сильнейшая буря, имевшая даже трагикомические последствия: вертолет, на который мы сели в Жешуве, попал в такую болтанку, что наш перепуганный переводчик потерял сознание. Пришлось уложить его на пол и сделать искусственное дыхание. Это затянуло переговоры, впрочем, учитывая оглушительный грохот, продолжать беседу не имело смысла.

Вечером следующего дня в разговоре наедине Герек сообщил мне по секрету:

«Брежнев говорил со мной о своем преемнике. Хотя Брежнев еще достаточно здоров, но он уже начинает подыскивать себе замену, что совершенно естественно. Думаю, вам будет полезно знать, кого он наметил. Разумеется, это должно остаться между нами. Речь идет о Григории Романове, в настоящее время он возглавляет ленинградскую партийную организацию. Он еще молод, но Брежнев считает, что Романов успеет набраться опыта и что он самый способный человек».

Эта информация воскресила в моей душе одно воспоминание – мой визит в Москву в июле 1973 года, когда я в качестве министра финансов в последний раз возглавлял французскую делегацию на встрече советско-французской комиссии. Глава советской делегации Кириллин организовал в нашу честь традиционный завтрак, на который был приглашен ряд высоких советских руководителей. Один из них поразил меня своим отличием от остальных, какой-то непринужденностью, явной остротой ума. Он выделялся на общем сером фоне. Я спросил, кто это такой, и, вернувшись в посольство, записал: Григорий Романов. Затем попросил нашего посла навести о нем справки.

Мне составили краткое жизнеописание Романова, причем было отмечено, что он входит в число наиболее перспективных деятелей партии.

* * *

Эдвард Терек не забыл тот наш разговор. В мае 1980 года я снова встретился с ним в Варшаве специально для того, чтобы через него предупредить Леонида Брежнева о губительных последствиях для разрядки опасной афганской авантюры. Во время нашей встречи, давшей повод для разных спекуляций в ходе моей предвыборной кампании, Герек вновь обратился к вопросу о преемнике Брежнева.

– Вы, вероятно, помните, что я сказал вам относительно Романова. Теперь это не так. Намерения Брежнева изменились. Он прочит себе в преемники не Романова, а Черненко. Вы его знаете?

Я знал Черненко в том смысле, что замечал его на официальных приемах. Он показался мне человеком преклонного возраста, бесцветным и всячески старающимся угодить Брежневу. Таким образом, режим предпочел замкнуться на самом себе.

Поэтому, когда на смену Брежневу пришел Андропов, я понял, что в самой системе произошел какой-то сбой и к власти пришел не тот, кто намечался. Кратковременное правление Черненко восстановило изначальный план передачи власти.

А когда четыре года спустя Михаил Горбачев, придя к власти, положил конец и так уже ограниченным функциям Романова, я сказал себе, что его поступок объясняется желанием устранить одного из тех, кто мог стать его потенциальным соперником в сложном и рискованном по своим возможным результатам процессе модернизации Советского Союза.

Приложение БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ Л.И. БРЕЖНЕВА (Из книги Е.И. Чазова «Как уходили вожди»)

История не терпит пустот и недомолвок. Если они появляются, то вскоре их заполняют домыслы, выгодные для определенных политических целей, предположения или набор не всегда проверенных и односторонне представленных фактов. Вот почему надо наконец ответить на вопрос, – что же произошло с Генеральным секретарем ЦК КПСС, когда он из активного, общительного, в определенной степени обаятельного человека, политика, быстро ориентирующегося в ситуации и принимающего соответствующие решения, за 10 лет превратился в дряхлого, «склерозированного» старика? Откуда начать рассказ о трагедии Брежнева?

Для меня она началась в один из августовских дней 1968 года – года Пражской весны и первых тяжелых испытаний для руководимого Брежневым Политбюро. Шли горячие дискуссии по вопросу возможной реакции СССР на события в Чехословакии. Как я мог уяснить из отрывочных замечаний Ю. В. Андропова, речь шла о том, показать ли силу Варшавского пакта, в принципе, силу Советского Союза, или наблюдать, как будут развиваться события, которые были непредсказуемы. Важна была и реакция Запада, в первую очередь США, которые сами погрязли в войне во Вьетнаме и не знали, как оттуда выбраться. Андропов боялся повторения венгерских событий 1956 года. Единодушия не было, шли бесконечные обсуждения, встречи, уговоры нового руководства компартии Чехословакии. Одна из таких встреч Политбюро ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПЧ проходила в середине августа в Москве.

В воскресенье стояла прекрасная погода, и моя восьмилетняя дочь упросила меня пораньше приехать с работы для того чтобы погулять и зайти в кино. Узнав у дежурных, что в Кремле все в порядке, идут переговоры, я уехал домой выполнять пожелания дочери. В кинотеатре «Стрела» демонстрировались в то время детские фильмы, и мы с дочерью с радостью погрузились в какую-то интересную киносказку. Не прошло и 20 минут, как ко мне подошла незнакомая женщина и попросила срочно выйти. На улице меня уже ждала автомашина, и через 5 минут я был на улице Грановского, в Управлении.

Здесь никто ничего толком не мог сказать. И вместе с П. Е.

Лукомским и нашим известным невропатологом Р.А. Ткачевым мы выехали в ЦК, на Старую площадь.

Брежнев лежал в комнате отдыха, был заторможен и неадекватен. Его личный врач Н. Г. Родионов рассказал, что во время переговоров у Брежнева нарушилась дикция, появилась такая слабость, что он был вынужден прилечь на стол. Никакой органики Р. А. Ткачев не обнаружил. Помощники в приемной требовали ответа, сможет ли Брежнев продолжить переговоры. Клиническая картина была неясной. Сам Брежнев что-то бормотал, как будто бы во сне, пытался встать.

Умница Роман Александрович Ткачев, старый опытный врач, сказал: «Если бы не эта обстановка напряженных переговоров, то я бы сказал, что это извращенная реакция усталого человека со слабой нервной системой на прием снотворных средств». Родионов подхватил: «Да, это у него бывает, когда возникают неприятности или не решаются проблемы. Он не может спать, начинает злиться, а потом принимает 1–2 таблетки снотворного, успокаивается, засыпает. Просыпается как ни в чем не бывало и даже не вспоминает, что было. Сегодня, видимо, так перенервничал, что принял не 1–2 таблетки, а больше. Вот и возникла реакция, которая перепугала все Политбюро». Так и оказалось.

В приемную зашел А. Н. Косыгин и попросил, чтобы кто-нибудь из врачей разъяснил ситуацию. Вместе с Ткачевым мы вышли к нему. Искренне расстроенный Косыгин, далекий от медицины, упирал на возможность мозговых нарушений. Он сидел рядом с Брежневым и видел, как тот постепенно начал утрачивать нить разговора. «Язык у него начал заплетаться, – говорил Косыгин, – и вдруг рука, которой он подпирал голову, стала падать. Надо бы его в больницу. Не случилось бы чего-нибудь страшного». Мы постарались успокоить Косыгина, заявив, что ничего страшного нет, речь идет лишь о переутомлении и что скоро Брежнев сможет продолжить переговоры. Проспав 3 часа, Брежнев вышел как ни в чем не бывало и продолжал участвовать во встрече.

Конечно, мы рисковали, конечно, нам повезло. Динамическое нарушение мозгового кровообращения протекает иногда стерто и не всегда диагносцируется. Правда, к везению надо прибавить и знания. Но что если бы на нашем месте были «перестраховщики», они бы увезли Брежнева в больницу, дня два обследовали, да еще, ничего не найдя, придумали бы диагноз либо нейродистонического криза, либо динамического нарушения мозгового кровообращения. А главное, без необходимости создали бы напряженную обстановку в партии, ЦК, Политбюро.

Это был для нас первый сигнал слабости нервной системы Брежнева и извращенной в связи с этим реакции на снотворное.

* * *

Шли годы. Возникали то одни, то другие проблемы. И я уже стал забывать о событии августовского воскресенья 1968 года.

Но вернемся в 1971 год – год XXIV съезда партии. Это был последний съезд, который Л. И. Брежнев проводил в нормальном состоянии. Он еще был полон сил, энергии, политических амбиций. Положение его как лидера партии и страны было достаточно прочным. Кроме того, чтобы обезопасить себя от возможных неожиданностей, он избрал верный путь. Во-первых, привлек в свое окружение людей, с которыми когда-то работал и которые, как он правильно рассчитывал, будут ему благодарны и преданы за их выдвижение. Во-вторых, на всех уровнях, определяющих жизнь страны, он стремился поставить людей по принципу «разделяй и властвуй».

Нет, не был в те годы Л. И. Брежнев недалеким человеком, чуть ли не дурачком, как это пытаются представить некоторые средства массовой информации. Он был расчетливым, тонким политиком. Среди его советников были самые видные специалисты в своих областях – академики М. В. Келдыш, Г. А. Арбатов, Н. Н. Иноземцев и многие другие, которые участвовали в разработке предлагаемых им программ.

Принцип «разделяй и властвуй» проявлялся и в Политбюро, где напротив друг друга сидели два человека, полные противоположности, и, мягко говоря, не любившие друг друга Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин. В свою очередь, в Совете Министров СССР А. Н. Косыгина окружали близкие Брежневу люди – старый друг Д. С. Полянский и знакомый еще по работе в Днепропетровске Н. А. Тихонов. Удивительными в связи с этим принципом казались мне его отношения с Ю. В. Андроповым.

Андропов был одним из самых преданных Брежневу членов Политбюро. Могу сказать твердо, что и Брежнев не просто хорошо относился к Андропову, но по-своему любил своего «Юру», как он обычно его называл. И все-таки, считая его честным и преданным ему человеком, он окружил его и связал «по рукам» заместителями председателя КГБ – С. К. Цвигуном, которого хорошо знал по Молдавии, и Г. К. Циневым, который в 1941 году был секретарем горкома партии Днепропетровска, где Брежнев в то время был секретарем обкома. Был создан еще один противовес, хотя и очень слабый и ненадежный, в лице министра

внутренних дел СССР Н. А. Щелокова. Здесь речь шла больше не о противостоянии Ю. В. Андропова и Н. А. Щелокова, которого Ю. В. Андропов иначе как «жуликом» и «проходимцем» мне и не рекомендовал, а скорее в противостоянии двух организаций, обладающих возможностями контроля за гражданами и ситуацией в стране. И надо сказать, что единственным, кого боялся и ненавидел Н. А. Щелоков, да и его первый зам, зять Брежнева – Ю. М. Чурбанов, был Ю. В. Андропов. Таков был авторитет и сила КГБ в то время.

Первое, что сделал Ю. В. Андропов, когда обсуждал будущую работу и взаимодействие с молодым, далеким от политических интриг, не разбиравшимся в ситуации руководителем 4-го управления, к тому же профессором, обеспечивающим постоянное наблюдение за состоянием здоровья руководителей партии и государства, это предупредил о сложной иерархии контроля за всем, что происходит вокруг Брежнева.

* * *

Жизнь непроста, многое определяет судьба и случай. Случилось так, что и С. К. Цвигун, и Г. К. Цинев сохранили жизнь только благодаря искусству и знаниям наших врачей. С. К. Цвигун был удачно оперирован по поводу рака легких нашим блестящим хирургом М. И. Перельманом, а Г. К. Цинева мы вместе с моим другом, профессором В. Г. Поповым, несколько раз выводили из тяжелейшего состояния после перенесенных инфарктов миокарда. И с тем и с другим у меня сложились хорошие отношения. Но и здесь я чувствовал внутренний антагонизм двух заместителей председателя КГБ, которые ревностно следили друг за другом. Но оба, хотя и независимо друг от друга, контролировали деятельность КГБ и информировали обо всем, что происходит, Брежнева. Умный Георгий Карпович Цинев и не скрывал, как я понял из рассказов Андропова, ни своей близости к Брежневу, ни своих встреч с ним.

Болезни Цвигуна и Цинева доставили нам немало переживаний. И не только в связи со сложностью возникших медицинских проблем, учитывая, что в первом случае приходилось решать вопрос об операбельности или неоперабельности рака легких, а во втором – нам с трудом удалось вывести пациента из тяжелейшего состояния, граничащего с клинической смертью. Была еще одна сторона проблемы. Брежнев особенно тяжело переживал болезнь Цинева, который был его старым другом. Когда я выражал опасения о

возможном исходе, он не раздражался, как это делали в трудные минуты многие другие руководители, а по-доброму просил сделать все возможное для спасения Георгия Карповича. Удивительны были звонки Андропова, который, прекрасно зная, кого представляет Цинев в КГБ, искренне, с присущей ему вежливостью просил меня помочь, использовать все достижения медицины, обеспечить все необходимое для лечения и т. п. Мне всегда казалось, что Андропов, понимая всю ситуацию, уважал и ценил Цинева, будучи в то же время весьма равнодушным и снисходительным к Цвигуну.

Для меня они оба были пациентами, для спасения которых было отдано немало не только знаний, но и души, потому что для врача нет генерала или солдата, партийного или беспартийного, работника КГБ или рабочего с автомобильного завода. Есть сложный больной, которого ты выходил и которому ты сохранил жизнь. И это самое важное и дорогое. Конечно, существует и определенная ответственность при лечении государственных деятелей, но искренне добрые чувства рождаются именно с преодолением трудностей, с чувством честно выполненного долга, когда ты видишь результаты своего труда.

* * *

Мне пришла на память история, которая, я уверен, не имела места в кабинете председателя КГБ ни до, ни после этого дня. Однажды я оказался у Андропова в кабинете. В это время у нас начали появляться проблемы с состоянием здоровья Брежнева, и мы встретились с Андроповым, чтобы обсудить ситуацию. Когда, закончив обсуждение, я поздравил Андропова с днем рождения, раздался звонок его самого близкого друга Д. Ф. Устинова. В тот период возникающие с Брежневым проблемы Андропов скрывал от всех, даже от самых близких друзей. На вопрос: «Что делает „новорожденный“ в данный момент?»– Андропов, понимая, что Устинов может каким-то образом узнать о моем длительном визите, ответил: «Меня поздравляет Евгений Иванович». Заводной, с широкой русской натурой Дмитрий Федорович тут же сказал: «Я этого не потерплю и еду к вам. Только скажи, чтобы открыли ворота, чтобы я въехал во двор, а то пойдут разговоры, что я к тебе езжу по вечерам». Короче говоря, через 30 минут в кабинете был Дмитрий Федорович, поздравлял, громко смеялся и требовал положенных в таких случаях 100 граммов. Андропов ответил, что не держит в кабинете спиртного. Настойчивый Дмитрий Федорович предложил вызвать помощника Андропова,

который должен был находиться в приемной, и попросить чего-нибудь достать. К моему удивлению, вместо помощника зашел Цвигун, а затем, буквально вслед за ним, извиняясь, появился Цинев. Конечно, нашлись 100 граммов за здоровье именинника, было шумно, весело, но меня не покидало ощущение, что нас не хотели оставлять втроем – о чем могли говорить председатель КГБ и приехавший внезапно и тайно министр обороны с профессором, осуществляющим лечение Брежнева, у которого появились проблемы со здоровьем?

Может быть, я был излишне мнителен, но интуиция меня никогда не подводила.

* * *

В первые годы моей работы в Управлении общительный, жизнерадостный, активный Леонид Ильич любил собирать у себя в доме компании друзей и близких ему лиц. Помню свое удивление, когда через год моей работы на посту начальника 4-го управления, в один из декабрьских вечеров, раздался звонок правительственной связи. Говорил Брежнев: «Ты что завтра вечером делаешь? Я хотел бы тебя пригласить на дачу. Соберутся друзья, отметим мое рождение». В первый момент я даже растерялся. Генеральный секретарь ЦК КПСС и вот так, запросто, приглашает к себе домой, да еще на семейный праздник, малоизвестного молодого профессора. Невдомек мне было тогда, что приглашал Брежнев не неизвестного профессора, а начальника 4-го управления.

В назначенное время я был на скромной старой деревянной даче Генерального секретаря в Заречье, на окраине Москвы, где в небольшой гостиной и столовой было шумно и весело. Не могу вспомнить всех, кого тогда встретил в этом доме. Отчетливо помню Андропова, Устинова, Цинева, помощника Брежнева – Г. Э. Цуканова, начальника 9-го управления КГБ С. Н. Антонова, министра гражданской авиации Б. П. Бугаева. Царила непринужденная обстановка. Брежнев любил юмор, да и сам мог быть интересным рассказчиком.

Довольно скоро, не знаю в связи с чем, для меня, да и для многих из тех, кто бывал со мной, они прекратились. Круг тех, кто посещал Брежнева, ограничился несколькими близкими ему членами Политбюро. Среди них не было ни Подгорного, ни Косыгина, ни Суслова. Да и позднее, когда Брежнев, все чаще и чаще находясь в больнице собирал там своих самых близких друзей, я не встречал среди них ни Подгорного, ни Косыгина, ни

Суслова. За столом обычно бывали Андропов, Устинов, Кулаков, Черненко. Даже Н. А. Тихонова не бывало на этих «больничных своеобразных чаепитиях», на которых обсуждались не только проблемы здоровья Генерального секретаря.

Вспоминая эти встречи, да и стиль жизни и поведения Брежнева на протяжении последних 15 лет его жизни, я убеждался, как сильны человеческие слабости и как они начинают проявляться, когда нет сдерживающих начал, когда появляется власть и возможности безраздельно ею пользоваться. Испытание «властью», к сожалению, выдерживают немногие. По крайней мере, в нашей стране. Если бы в конце 60-х годов мне сказали, что Брежнев будет упиваться славой и вешать на грудь одну за другой медали «Героя» и другие знаки отличия, что у него появится дух стяжательства, слабость к подаркам и особенно к красивым ювелирным изделиям, я бы ни за что не поверил. В то время это был скромный, общительный, простой в жизни и обращении человек, прекрасный собеседник, лишенный комплекса «величия власти».

Помню, как однажды он позвонил и попросил проводить его к брату, который находился на лечении в больнице в Кунцеве. Я вышел на улицу и стал ждать его и эскорт сопровождающих машин. Каково было мое удивление, когда ко мне как-то незаметно подъехал «ЗИЛ», в котором находился Брежнев и только один сопровождающий. Брежнев, открыв дверь, пригласил меня в машину. Но еще больше меня удивило, что машину обгонял другой транспорт, а на повороте в больницу на Рублевском шоссе в нас чуть не врезалась какая-то частная машина. С годами изменился не только Брежнев, но и весь стиль его жизни, поведения, и даже внешний облик.

Как ни странно, но я ощутил эти изменения, казалось бы, с мелочи. Однажды, когда внешне все как будто бы оставалось по-старому, у него на руке появилось массивное золотое кольцо с печаткой. Любуясь им, он сказал: «Правда, красивое кольцо и мне идет?» Я удивился – Брежнев и любовь к золотым кольцам! Это что-то новое. Возможно, вследствие моего воспитания я не воспринимал мужчин, носящих ювелирные изделия вроде колец. Что-то в этом духе я высказал Брежневу, сопроводив мои сомнения высказыванием о том, как воспримут окружающие эту новинку во внешнем облике Генерального секретаря ЦК КПСС. Посмотрев на меня почти с сожалением, что я такой недалекий, он ответил, что ничего я не понимаю и все его товарищи, все окружающие сказали, что кольцо очень здорово смотрится и что надо его носить. Пусть это будет его талисманом.

* * *

Это было в то время, когда положение Брежнева укрепилось, не было достойных конкурентов, он не встречал каких-либо возражений и чувствовал себя совершенно свободно.

Вокруг появлялось все больше и больше подхалимов. Мне кажется, что в первые годы Брежнев в них разбирался, но по мере того как у него развивался атеросклероз мозговых сосудов и он терял способность к самокритике, расточаемый ими фимиам попадал на благодатную почву самомнения и величия. Сколько он показал нам, находясь в больнице, выдержек из газет, выступлений по радио и телевидению, писем и телеграмм, которые ему пересылал из ЦК К. У. Черненко, в которых восхвалялись его настоящие и мнимые заслуги! Они были полны такого неприкрытого подхалимства, что как-то неловко было их слушать и неловко было за Брежнева, который верил в их искренность.

Члены Политбюро, за исключением Косыгина и в определенные периоды Подгорного, не отставали от других, выражая свое преклонение перед «гением» Брежнева и предлагая наперебой новые почести для старого склерозировавшегося человека, потерявшего в значительной степени чувство критики, вызывавшего в определенной степени чувство жалости.

Вспоминаю, как в феврале 1978 года Брежнев говорил: «Знаешь, товарищи решили наградить меня орденом „Победа“. Я им сказал, что этот орден дается только за победу на фронте. А Дмитрий Федорович (Устинов), да и другие, убедили меня, что победа в борьбе за мир равноценна победе на фронте». С подачи К. У. Черненко, в том же 1978 году была предложена генсеку третья Звезда Героя Советского Союза.

…Трудно бывает устоять от соблазнов, которые предоставляет власть. Когда в годы «перестройки» я слушал предвыборные дискуссии кандидатов в депутаты всех уровней, их обвинения властям предержащим в создании особых привилегий, стяжательстве, отрыве от народа, я внутренне улыбался. Все это было мне знакомо. Как только будет завоевана под любым флагом, в том числе и демократическим, власть, забудутся пылкие популистские выступления и обвинения в адрес «бывших» и постепенно все вернется «на круги своя».

К сожалению, низка политическая культура не только народа, но и избранных депутатов. К тому же гласность в большинстве случаев остается односторонней и служит данному моменту. Да и нет каких-то ограничителей, которые позволяли бы сдерживать человеческие слабости. Я хотел бы ошибиться, но жизнь, увы,

подтверждает сказанное…

* * *

В 1973 году состоялся визит Брежнева в США. Он прошел успешно, и Брежнев победителем возвратился на родину. Но у меня этот визит ассоциируется с первыми тяжелыми переживаниями, связанными с состоянием здоровья Брежнева. Дело в том, что ко времени визита в США развитие атеросклероза мозговых сосудов начало сказываться на состоянии его нервной системы. Первые предвестники этого процесса, как я уже указывал появились в период пражских событий. Однако после этого эпизода Брежнев в целом чувствовал себя хорошо, был, как говорят врачи, полностью сохранен и активно работал.

Начиная с весны 1973 года у него изредка, видимо, в связи с переутомлением, начали появляться периоды слабости функции центральной нервной системы, сопровождавшиеся бессонницей. Он пытался избавиться от нее приемом успокаивающих и снотворных средств. Когда это регулировалось нами, удавалось быстро восстановить и его активность, и его работоспособность. Он не скрывал своего состояния от близкого окружения, и они (некоторые – из искреннего желания помочь, другие из подхалимства) наперебой предлагали ему различные препараты, в том числе и сильнодействующие, вызывавшие у него депрессию и вялость.

Вот с такими ситуациями мне и пришлось столкнуться во время визита Брежнева в США. Но так как его организм был еще достаточно крепок, нам удавалось очень быстро выводить его из таких состояний, и никто из сопровождавших лиц; из американцев, встречавшихся с ним, не знал и не догадывался о возникавших осложнениях. Заметить их внешние проявления было почти невозможно. Мне казалось, что, вернувшись домой, отдохнув и придя в себя, Брежнев вновь обретет привычную активность и работоспособность, забудет о том, что происходило с ним в США. Однако этого не произошло. Помогли «сердобольные» друзья, каждый из которых предлагал свой рецепт лечения. И роковая для Брежнева встреча с медсестрой Н. Я не называю ее фамилию только по одной причине – у нее дочь, и, главное, ее судьба сложилась непросто. Ее близость к Брежневу принесла ей немало льгот – трехкомнатную квартиру в одном из домов ЦК КПСС, определенное независимое положение, материальное благополучие, быстрый взлет от капитана до генерала ее недалекого во всех отношениях мужа. К сожалению, я

слишком поздно, да и, откровенно говоря, случайно, узнал всю пагубность ее влияния на Брежнева.

* * *

Однажды раздался звонок Андропова. Смущенно, как это было с ним всегда, когда он передавал просьбы или распоряжения Брежнева, которые противоречили его принципам и с которыми он внутренне не соглашался, он предложил в 24 часа перевести старшую сестру отделения, где работала Н., на другую работу. Когда я поинтересовался причинами и заметил с определенной долей иронии, что вряд ли председатель КГБ должен заниматься такими мелкими вопросами, как организация работы медсестер, он сердито ответил, что просьба исходит не от него и для меня лучше ее выполнить. Мне искренне жалко было старшую медсестру, прошедшую фронт, пользовавшуюся в коллективе авторитетом, и, чтобы выяснить все подробности и попытаться исправить положение, я встретился с лечащим врачом Брежнева Н. Родионовым.

Оказалось, что именно он, который должен был строго следить за режимом и регулировать лекарственную терапию, передоверил все это сестре, которую привлек к наблюдению за Брежневым. Мягкий, несколько беспечный, интеллигентный человек, он и не заметил, как ловкая медицинская сестра, используя слабость Брежнева, особенно периоды апатии и бессонницы, когда он нуждался в лекарственных средствах, фактически отстранила врача от наблюдения за ним. Мой визит к Брежневу не дал никаких результатов – он наотрез, с повелительными нотками в голосе, отказался разговаривать и о режиме, и о необходимости регулирования лекарственных средств, и о характере наблюдений медсестры.

Реально оценивая складывающуюся ситуацию, я стал искать союзников в борьбе за здоровье Брежнева, сохранение его работоспособности, активности и мышления государственного деятеля. Прежде всего я решил обратиться к семье, а конкретнее – к жене Брежнева, Виктории Петровне, тем более что у нас сложились хорошие, добрые отношения. Они поддерживались и тем, что тяжелобольная Брежнева понимала, что живет только за счет активной помощи врачей. Не хочу уподобиться многочисленным «борзописцам», смакующим несчастье и злой рок в семействе Брежневых. Большинство из этих несчастий выносила на своих плечах жена Брежнева, которая была опорой семьи. Она никогда не интересовалась политическими и

государственными делами и не вмешивалась в них, так же, впрочем, как и жена Андропова. Ей хватало забот с детьми. Сам Брежнев старался не вмешиваться в домашние дела. При малейшей возможности он «вырывался» на охоту в Завидово, которое стало его вторым домом. Как правило, он уезжал днем в пятницу и возвращался домой только в воскресенье вечером.

В последние годы жизни Брежнева у меня создавалось впечатление, что и домашние рады этим поездкам. Думаю, что охота была для Брежнева лишь причиной, чтобы вырваться из дома. Уверен, что семейные неприятности были одной из причин, способствующих болезни Брежнева. Единственно, кого он искренне любил, это свою дочку Галю. Вообще взаимоотношения в семье были сложные. И не был Чурбанов, как это пытаются представить, ни любимцем Брежнева, ни очень близким ему человеком.

Всю заботу о Брежневе в последнее десятилетие его жизни взяли на себя начальник его охраны А. Рябенко, который прошел с ним полжизни, и трое прикрепленных: В. Медведев, В. Собаченков и Г. Федотов. Более преданных Брежневу людей я не встречал. Когда Брежнев начал превращаться в беспомощного старика, он мог обойтись без детей, без жены, но ни минуты не мог остаться без них. Они ухаживали за ним, как за маленьким ребенком. Как оказалось, в конце концов именно они стали нашими союзниками в борьбе за здоровье и работоспособность Брежнева.

* * *

К моему удивлению, меня ждало полное разочарование в возможности привлечь жену Брежнева в союзники. Она совершенно спокойно прореагировала и на мое замечание о пагубном влиянии Н. на Брежнева, и на мое предупреждение о начавшихся изменениях в функции центральной нервной системы, которые могут постепенно привести к определенной деградации личности. В двух словах ответ можно сформулировать так: «Вы – врачи, вам доверены здоровье и работоспособность Генерального секретаря, вот вы и занимайтесь возникающими проблемами, а я портить отношения с мужем не хочу». Более того, в конце 70-х годов, когда у Брежнева на фоне уже развившихся изменений центральной нервной системы произошел срыв, связанный с семейным конфликтом у его внучки, никого из близких не оказалось на его стороне. Уверен, что этот срыв усугубил процессы, происходившие и в сосудах

мозга, и в центральной нервной системе.

Не получив поддержки в семье Брежнева, я обратился к единственному человеку в руководстве страны, с которым у меня сложились доверительные отношения, – к Андропову. Мне казалось, что он, обязанный своим положением Брежневу, прекрасно разбирающийся в политической ситуации и положении в стране, поможет решить возникшие проблемы, от которых зависит будущее руководство партией и страной. По крайней мере, пользуясь авторитетом и доверием Брежнева, сможет обрисовать ему тяжелое будущее, если тот не примет наших советов. Несмотря на близость к Андропову на протяжении 18 лет, наши длительные откровенные беседы на самые разнообразные темы, сложные ситуации, из которых нам приходилось выходить вместе, несмотря на все это, он и сейчас представляет для меня загадку. Но это отдельный разговор.

Тогда же, в 1973 году, я ехал на площадь Дзержинского с большими надеждами. Мы, как правило, встречались по субботам, когда пустели коридоры и кабинеты партийных и государственных учреждений, в основном молчали аппараты правительственной связи. Брежнев, а с ним и другие руководители, строго выдерживали кодекс о труде в плане использования для отдыха субботы и воскресенья. Лишь два человека – Устинов, в силу стереотипа, сложившегося со сталинских времен, когда он был министром, и Андропов, бежавший из дома в силу сложных семейных обстоятельств, в эти дни работали. Если Брежнев убегал на охоту в Завидово, то Андропов убегал на работу.

С трудом открыв массивную дверь в старом здании на площади Дзержинского, пройдя мимо охраны и солдата с автоматом наперевес, я поднялся на 3-й этаж, где размещался кабинет Андропова. Мне нравился его уютный кабинет с высоким потолком, скромной обстановкой, бюстом Дзержинского.

В приемной вежливый и приятный, интеллигентного вида, всегда с доброй улыбкой секретарь Евгений Иванович попросил минутку подождать, пока из кабинета выйдет помощник Андропова В. А. Крючков. Я подошел к большому окну, из которого открывался прекрасный вид. Был конец лета, и возле метро и «Детского мира», по улице 25 Октября сплошным потоком в различных направлениях спешили приезжие и москвичи – кто в ГУМ, кто на Красную площадь, кто в «Детский мир». У каждого были свои заботы, свои интересы, свои планы. Они и не предполагали, что в большом сером доме на площади обсуждаются проблемы, от решения которых в определенной степени зависит и их будущее.

Из кабинета вышел Крючков – один из самых близких и преданных Андропову сотрудников. Дружески раскланявшись с ним, я вошел к Андропову. Улыбаясь, он, как всегда, когда мы оставались наедине, предложил сбросить пиджаки и «побросаться новыми проблемами».

По мере моего рассказа о сложностях, возникающих с состоянием здоровья Брежнева и его работоспособностью, особенно в аспекте ближайшего будущего, улыбка сходила с лица Андропова, и во взгляде, в самой позе появилась какая-то растерянность. Он вдруг ни с того ни с сего начал перебирать бумаги, лежавшие на столе, чего я никогда не видел ни раньше, ни позднее этой встречи. Облокотившись о стол и как будто ссутулившись, он молча дослушал до конца изложение нашей, как я считал, с ним проблемы.

Коротко, суть поставленных вопросов сводилась к следующему: каким образом воздействовать на Брежнева, чтобы он вернулся к прежнему режиму и принимал успокаивающие средства только под контролем врачей? Как удалить Н. из его окружения и исключить пагубное влияние некоторых его друзей? И самое главное – в какой степени и надо ли вообще информировать Политбюро или отдельных его членов о возникающей ситуации?

* * *

Андропов довольно долго молчал после того, как я закончил перечислять свои вопросы, а потом, как будто бы разговаривая сам с собой, начал скрупулезно анализировать положение, в котором мы оказались. «Прежде всего, – сказал он, – никто, кроме вас, не поставит перед Брежневым вопроса о режиме или средствах, которые он использует. Если я заведу об этом разговор, он сразу спросит: „А откуда ты знаешь?“ Надо ссылаться на вас, а это его насторожит: почему мы с вами обсуждаем вопросы его здоровья и будущего. Может появиться барьер между мной и Брежневым. Исчезнет возможность влиять на него. Многие, например Щелоков, обрадуются. Точно так же не могу я вам ничем помочь и с удалением Н. из его окружения. Я как будто бы между прочим рассказал Брежневу о Н., и даже не о ней, а о ее муже, который работает в нашей системе и довольно много распространяется на тему об их взаимоотношениях. И знаете, что он мне на это ответил? „Знаешь, Юрий, это моя проблема, и прошу больше ее никогда не затрагивать“. Так что, как видите, – продолжал Андропов, – мои возможности помочь вам крайне

ограничены, их почти нет. Сложнее другой ваш вопрос – должны ли мы ставить в известность о складывающейся ситуации Политбюро или кого-то из его членов? Давайте мыслить реально. Сегодня Брежнев признанный лидер, глава партии и государства, достигшего больших высот. В настоящее время только начало болезни, периоды астении редки, и видите их только вы и, может быть, ограниченный круг ваших специалистов. Никто ни в Политбюро, ни в ЦК нас не поймет и постараются нашу информацию представить не как заботу о будущем Брежнева, а как определенную интригу. Надо думать нам с вами и о другом. Эта информация может вновь активизировать борьбу за власть в Политбюро. Нельзя забывать, что кое-кто может если не сегодня, то завтра воспользоваться возникающей ситуацией. Тот же Шелепин, хотя и перестал претендовать на роль лидера, но потенциально опасен. Кто еще? – размышлял Андропов. – Суслов вряд ли будет ввязываться в эту борьбу за власть. Во всех случаях он всегда будет поддерживать Брежнева. Во-первых, он уже стар, его устраивает Брежнев, тем более Брежнев со своими слабостями. Сегодня Суслов для Брежнева, который слабо разбирается в проблемах идеологии, непререкаемый авторитет в этой области, и ему даны большие полномочия. Брежнев очень боится Косыгина, признанного народом, талантливого организатора. Этого у него не отнимешь. Но он не борец за власть. Так что основная фигура – Подгорный. Это – ограниченная личность, но с большими политическими амбициями. Такие люди опасны. У них отсутствует критическое отношение к своим возможностям. Кроме того, Подгорный пользуется поддержкой определенной части партийных руководителей, таких же по характеру и стилю, как и он сам. Не исключено, что и Кириленко может включиться в эту борьбу. Так что, видите, претенденты есть. Вот почему для спокойствия страны и партии, для благополучия народа нам надо сейчас молчать и, более того, постараться скрывать недостатки Брежнева. Если начнется борьба за власть в условиях анархии, когда не будет твердого руководства, то это приведет к развалу и хозяйства, и системы. Но нам надо активизировать борьбу за Брежнева, и здесь основная задача падает на вас. Но я всегда с вами и готов вместе решать вопросы, которые будут появляться».

Андропов рассуждал логично, и с ним нельзя было не согласиться. Но я понял, что остаюсь один на один и с начинающейся болезнью Брежнева, и с его слабостями. Понял и то, что, Андропов, достигнув вершин власти, только что войдя в состав Политбюро, не хочет рисковать своим положением. С другой стороны, он представлял четко, что быть могущественным

Андроповым и даже вообще быть в Политбюро он может только при руководстве Брежнева. Что я не понял в то время, так это то, что разговорами о благе партии и народа, благополучии моей Родины, любовь к которой я впитал с молоком матери, пытались прикрыть свои собственные интересы…

* * *

После состоявшегося разговора с Андроповым я решил, выбрав подходящий момент, еще раз откровенно поговорить с Брежневым. Воспользовавшись моментом, когда Брежнев остался один, о чем мне сообщил Рябенко, искренне помогавший мне все 15 лет, я приехал на дачу. Брежнев был в хорошем состоянии и был удивлен моим неожиданным визитом. Мы поднялись на 3-й этаж, в его неуютный кабинет, которым он пользовался редко. Волнуясь, я начал заранее продуманный разговор о проблемах его здоровья и его будущем.

Понимая, что обычными призывами к соблюдению здорового образа жизни таких людей, как Брежнев, не убедишь, я, памятуя разговор с Андроповым, перенес всю остроту на политическую основу проблемы, обсуждая его возможности сохранять в будущем позиции политического лидера и главы государства, когда его астения, склероз мозговых сосудов, мышечная слабость станут видны не только его друзьям, но и врагам, а самое главное – широким массам. Надо сказать, что Брежнев не отмахнулся от меня, как это бывало раньше. «Ты все преувеличиваешь, – ответил он на мои призывы. – Товарищи ко мне относятся хорошо, и я уверен, что никто из них и в мыслях не держит выступать против меня. Я им нужен. Косыгин, хотя и себе на уме, но большой поддержкой в Политбюро не пользуется. Что касается Подгорного, то он мой друг, мы с ним откровенны, и я уверен в его добром отношении ко мне (через 3 года он будет говорить противоположное). Что касается режима, то я постараюсь его выполнять. Если надо, каждый день буду плавать в бассейне. (Только в этом он сдержал слово, и до последних дней его утро начиналось с бассейна, даже в периоды, когда он плохо ходил. Это хоть как-то его поддерживало.) В отношении успокаивающих средств ты подумай с профессорами, что надо сделать, чтобы у меня не появлялась бессонница. Ты зря нападаешь на Н. Она мне помогает и, как говорит, ничего лишнего не дает. А в целом, тебе по-человечески спасибо за заботу обо мне и моем будущем».

Насколько я помню, это была наша последняя обстоятельная и разумная беседа, в которой Брежнев мог критически оценивать

и свое состояние, и ситуацию, которая складывалась вокруг него. Действительно, почти год после нашего разговора, до середины 1974 года, он старался держаться и чувствовал себя удовлетворительно.

* * *

14 июня, в связи с 60-летием со дня рождения, Андропову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. После того как я поздравил его с юбилеем, Андропов (мы были наедине), улыбающийся, радостный, сказал: «Вы зря беспокоились о Брежневе. Все наши страхи напрасны, он активно работает, заслуженно пользуется авторитетом. Никто не обсуждает проблем его здоровья. Будем надеяться, что все самое тяжелое уже позади».

Не знаю, «сглазил» ли Андропов Брежнева, или тому просто надоело держаться в рамках строго установленного врачами режима, но первый достаточно серьезный срыв произошел уже через месяц после нашего разговора. Это случилось накануне визита Брежнева в Польшу во главе делегации на празднование 30-летия провозглашения Польской Народной Республики. За два дня до отъезда новый личный врач Брежнева М. Т. Косарев (прежний умер от рака легких) с тревогой сообщил, что, приехав на дачу, застал Брежнева в астеническом состоянии. Что сыграло роль в этом срыве, разбираться было трудно, да и некогда. Отменить заранее объявленный визит в Польшу было невозможно. Надо было срочно постараться вывести Брежнева из этого состояния. С большим трудом это удалось сделать, и 19 июля восторженная Варшава встречала руководителя братского Советского Союза. Руководитель был зол на нас, заставивших его выдерживать режим, но зато держался при встрече хорошо и выглядел бодро. На следующий день предполагалось выступление Брежнева на торжественном заседании, и мы просили его выдержать намеченный режим, причем предупредили и присутствовавшую при разговоре Н. об ответственности момента. В ответ была бурная реакция Брежнева в наш с Косаревым адрес с угрозами, криком, требованиями оставить его в покое. Косарев, который впервые присутствовал при такой реакции, побледнел и растерялся. Мне уже приходилось быть свидетелем подобных взрывов, связанных с болезнью, и я реагировал на них спокойнее.

Вечером, когда мы попытались встретиться с Брежневым, нам объявили, что он запретил пускать нас в свою резиденцию, которая находилась в 300 метрах от гостиницы, в которой мы

жили. Без нас, вечером, Брежнев принял успокаивающие средства, полученные от кого-то из окружения, вероятнее всего от Н., которая оставалась с ним. Утром мы с трудом привели его в «божеский» вид. Что было дальше, описывает Э. Герек в своих «Воспоминаниях», в которых Брежнев предстает как странный или невменяемый человек. Мне, больше чем ему, было стыдно, когда Брежнев начал дирижировать залом, поющим «Интернационал».

Я подробно останавливаюсь на этом случае не только потому, что его описание объясняет историю, рассказанную Тереком, но и потому, что подобные ситуации возникали в дальнейшем не раз в ответственные моменты политических и дипломатических событий.

Теряя способность аналитического мышления, быстроту реакции, Брежнев все чаще и чаще не выдерживал рабочих нагрузок, сложных ситуаций. Происходили срывы, которые скрывать было уже невозможно. Их пытались объяснять по-разному: нарушением мозгового кровообращения, сердечными приступами, нередко им придавали политический оттенок.

* * *

Не так давно мне позвонил академик Г.А.Арбатов, один из тех, кто участвовал в формировании внешнеполитического курса при Брежневе, и попросил, в связи с необходимостью уточнения материалов его воспоминаний, ответить – что же на самом деле происходило с Брежневым во время переговоров с Фордом во Владивостоке в ноябре 1974 года? Это, кстати, подтверждает тот факт, что даже ближайшее окружение Брежнева не знало в то время истины его срывов.

Во Владивосток Брежнев летел в крайнем напряжении. Предстояло вести сложные переговоры по дальнейшему уменьшению военного противостояния США и СССР, причем каждая из сторон боялась, как бы другая сторона ее не обманула. Кроме того, надо было принимать решения в ходе переговоров, что уже представляло трудности для Брежнева. Первые признаки начинающегося срыва мы обнаружили еще в Хабаровске, где пришлось приземлиться из-за плохой погоды во Владивостоке. Обстановка переговоров, по моим представлениям, была сложной. Они не раз прерывались, и я видел, как американская делегация спешила на улицу в бронированный автомобиль, который они привезли с собой, чтобы связаться с Вашингтоном, а Брежнев долго, по специальной связи, о чем-то спорил с министром обороны А. Гречко. Брежнев нервничал, был

напряжен, злился на окружающих. Начальник охраны А. Рябенко, видя его состояние, сказал мне: «Евгений Иванович, он на пределе, ждите очередного срыва». Да я и сам при встречах с Брежневым видел, что он держится из последних сил.

Тяжелейший срыв произошел в поезде, когда, проводив американскую делегацию, Брежнев поехал в Монголию с официальным визитом. Из поезда я позвонил по спецсвязи Андропову и сказал, что все наши надежды рухнули, все вернулось на «круги своя» и что скрывать состояние Брежнева будет трудно, учитывая, что впервые не врачи и охрана, а вся делегация, находившаяся в поезде, видела Брежнева в невменяемом, астеническом состоянии.

Действительно, многие (об этом пишет и Арбатов) считали, что у Брежнева возникло динамическое нарушение мозгового кровообращения. С этого времени и ведут отсчет болезни Брежнева. Надо сказать, что в какой-то степени нам удалось компенсировать нарушенные функции в связи с астенией и депрессией. Более или менее спокойно прошел визит в Монголию, а затем в начале декабря и во Францию.

После Франции Брежнев перестал обращать внимание на наши рекомендации, не стесняясь, под любым предлогом, стал принимать сильнодействующие успокаивающие средства, которыми его снабжала Н. и некоторые его друзья. Периодически, еще сознавая, что сам губит себя, он соглашался на госпитализацию в больницу или санаторий «Барвиха», но, выйдя из тяжелого состояния, тут же «убегал» чаще всего в свое любимое Завидово.

Самыми страшными для всех нас, особенно для охраны, были моменты, когда, отправляясь в Завидово, он сам садился за руль автомашины. С военных лет Брежнев неплохо водил машину и любил быструю езду. Однако болезнь, мышечная слабость, астения привели к тому, что он уже не мог справляться с автомобилем так, как это было раньше, что было причиной нескольких автомобильных инцидентов. Особенно опасны были такие вояжи в Крыму по горным дорогам. Однажды машина, которую он вел, чуть не свалилась с обрыва. Возвращаясь из таких поездок, А. Рябенко мне часто говорил, что только волей случая можно объяснить, что они еще живы.

* * *

Брежнев терял способность к самокритике, что было одним из ранних проявлений его болезни, связанной с активным развитием

атеросклероза сосудов мозга. Она проявлялась в нарастающей сентиментальности, вполне объяснимой у человека, прошедшего войну и перенесшего контузию. Особенно остро он переживал воспоминания о военных и первых послевоенных годах. Находясь в санатории «Барвиха», он попросил, чтобы каждый день ему показывали фильмы с участием известной австрийской киноактрисы Марики Рокк. Фильмы с ее участием были первыми цветными музыкальными фильмами, которые шли в нашей стране в тяжелые послевоенные годы. Я сам помню эти удивительные для нас ощущения. Вокруг была разруха, голод, смерть близких, а с экрана пела, танцевала очаровательная Марика Рокк, и этот мир казался нам далекой несбыточной сказкой. Брежнев посмотрел 10 или 12 фильмов с ее участием, каждый раз вновь переживая послевоенные годы.

В связи со снижением критического восприятия у Брежнева случались и казусы. Один из них связан с телесериалом «Семнадцать мгновений весны», который Брежнев смотрел в больнице. Дежурившая у него Н. при обсуждении картины передала как очевидное слухи, ходившие среди определенного круга лиц, о том, что прототипом главного героя Штирлица является полковник Исаев, который живет всеми забытый, и его подвиг достойно не отмечен. Возбужденный Брежнев тут же позвонил Андропову и серьезно начал выговаривать, что у нас еще не ценят заслуги людей, спасших страну от фашизма. Он просил разыскать Исаева, работа которого в тылу немцев достойна высшей награды. Когда Андропов начал резонно говорить, что он точно знает, что это вымысел автора, что за Штирлицем не скрывается реальное лицо, Брежнев этому не поверил и просил еще раз все выяснить и доложить. Исаева, конечно, не нашли, но награды были все-таки вручены. Они были вручены исполнителям ролей в этом фильме, так понравившемся Генеральному секретарю.

Брежнев все больше и больше терял способность к критическому анализу, снижалась его работоспособность и активность, срывы становились более продолжительными и глубокими. В 1975 году скрывать их практически не удавалось. Да и он сам, окруженный толпой подхалимов, все больше и больше уверовал в свою непогрешимость и свое величие, стал меньше обращать внимания на реакцию окружающих. Приглашая, например, в Завидово своих, как ему казалось, друзей-охотников Н. Подгорного и Д. Полянского, он не только усаживал за стол медсестру Н., но и обсуждал в ее присутствии государственные проблемы.

Мне позвонил возмущенный Д. Полянский и заявил, что это

безобразие, что медицинская сестра нашего учреждения садится за стол вместе с членами Политбюро, которые обсуждают важные государственные проблемы. Что это не только неэтично, но и бестактно. Согласившись с ним, я поинтересовался, а сказал ли он то же самое хозяину дома? Несколько замявшийся Полянский ответил, что что-то в этом духе он Брежневу сказал, но считает, что прежде всего я обязан удалить Н. из Завидова и предупредить ее о необходимости строго соблюдать профессиональную этику. Не знаю, что на самом деле сказал Полянский Брежневу, но в их отношениях появился холодок, который в конце концов привел к разрыву.

* * *

Несмотря на углубляющиеся изменения личности Генерального секретаря, учащающиеся приступы срывов в его состоянии, страна в 1975 году продолжала еще жить активно и творчески.

Некоторый спад внешнеполитической деятельности, особенно в отношениях с США, прервал период разрядки. К августу 1975 года было подготовлено Соглашение по безопасности в Европе. Подписание соглашения, о котором так мечтал Брежнев, должно было состояться в августе в Хельсинки. Естественно, на этот период надо было обеспечить активность Генерального секретаря. Мы изучили все известные мировой медицине методы стимуляции функций организма, в том числе и центральной нервной системы. Кстати сказать, Андропов очень заинтересовался этими методами и попросил достать соответствующие препараты. Будучи страстным болельщиком хоккейной команды «Динамо», он в шутку сказал: «Посвятили бы вы во все тонкости руководство „Динамо“, может быть, играть стали бы лучше». Помолчав, добавил: «Думаю, даже при этом они ЦСКА не обыграют». (Это были годы острого соперничества «Динамо» и ЦСКА.) Действительно, вскоре ко мне пришли руководители «Динамо», которым я не только прочитал лекцию о возможностях скрытых резервных сил организма, но и передал ряд средств, которые еще не числились в разряде допинговых.

Не знаю, как команду «Динамо» (судя по тому, что они не завоевали первенства, игроки вряд ли принимали стимуляторы), а вот Брежнева нам удалось перед поездкой в Хельсинки вывести из состояния мышечной астении и депрессии. Андропов очень волновался перед поездкой Брежнева в Хельсинки. Разработанный план дезинформации общественного мнения в

отношении здоровья Брежнева рушился. Внутри страны еще можно было как-то мириться с ситуацией, связанной с болезнью Брежнева. Другой вопрос – как ее воспримут на Западе? Не будут ли болезнь лидера, его слабость влиять на позиции нашей страны? Не поднимут ли голову ее недруги? Боялся Андропов, да и я, и не без оснований, возможного срыва в ходе Хельсинкского совещания. Чтобы предупредить разговоры внутри страны, делегация и число сопровождающих лиц были сведены к минимуму – А. А. Громыко и начавший набирать силу К. У. Черненко. Мы поставили условие: чтобы во время поездки (в Хельсинки мы ехали поездом) и в период пребывания в Финляндии у Брежнева были бы только официальные встречи, и ни Н., ни кто-либо другой не встречался с ним наедине (кроме Громыко и Черненко).

Надо сказать, что и в этот период, и в последующих сложных политических ситуациях, когда надо было проявлять хоть минимум воли и мышления, Брежнев с нами соглашался.

Вспоминаю, как возмущались некоторые работники МИД СССР тем, что в зале заседаний рядом с Брежневым находились врач и охрана, а не дипломаты всех рангов. Возможно, они думали, что мы это делаем из тщеславия. А у нас была только одна мысль – хоть бы скорее все заканчивалось и лишь бы не пришлось на ходу применять лекарственные средства. К нашей радости и определенному удивлению, выступление Брежнева и подписание соглашения прошло относительно хорошо. Единственно, когда надо было ехать на официальный обед, который давал У. Кекконен в честь глав делегаций, он вдруг начал категорически отказываться от поездки, убеждая, что на обеде страну вполне может представлять Громыко. С большим трудом удалось его уговорить поехать на обед. Но в связи с уговорами он несколько опоздал на обед, где его приезда ждали главы делегаций, и уехал раньше в резиденцию, размещавшуюся недалеко от дворца президента в здании нашего посольства.

* * *

Возвращение в страну было триумфальным, а для нас печальным. В Москве Брежнев был всего сутки, после чего улетел к себе на дачу в Крым, в Нижнюю Ореанду. Все встало на «круги своя». Опять успокаивающие средства, астения, депрессия, нарастающая мышечная слабость, доходящая до прострации. Три раза в неделю, скрывая от всех свои визиты, я утром улетал в Крым, а вечером возвращался в Москву. Все наши усилия вывести

Брежнева из этого состояния оканчивались неудачей. Положение становилось угрожающим.

При встрече я сказал Андропову, что больше мы не имеем права скрывать от Политбюро ситуацию, связанную со здоровьем Брежнева и его возможностью работать. Андропов явно растерялся. Целеустремленный, волевой человек, с жесткой хваткой, он терялся в некоторых сложных ситуациях, когда ему трудно было найти выход, который устраивал бы и дело, которому он честно и преданно служил, и отвечал его собственным интересам. Более того, мне казалось, что в такие моменты у него появлялось чувство страха.

Так было и в данном случае. Чтобы не принимать опрометчивого решения, он сам вылетел в Крым, к Брежневу. Что было в Крыму, в каком виде Андропов застал Брежнева, о чем шел разговор между ними, я не знаю, но вернулся он из поездки удрученным и сказал, что согласен с моим мнением о необходимости более широкой информации Политбюро о состоянии здоровья Брежнева. Перебирая все возможные варианты – официальное письмо, ознакомление всего состава Политбюро или отдельных его членов со сложившейся ситуацией, – мы пришли к заключению, что должны информировать второго человека в партии – Суслова. Он был, по нашему мнению, единственным, кого еще побаивался или стеснялся Брежнев. Разъясняя всю суть проблемы Суслову, мы как бы перекладывали на него ответственность за дальнейшие шаги.

Андропов взял на себя миссию встретиться с Сусловым и все ему рассказать. Вернулся он в плохом настроении – Суслов хотя и пообещал поговорить с Брежневым о его здоровье и режиме, но сделал это весьма неохотно и, кроме того, был недоволен тем, что оказался лицом, которому необходимо принимать решение. Он согласился с Андроповым, что пока расширять круг лиц, знакомых с истинным положением дел, не следует, ибо может начаться политическая борьба, которая нарушит сложившийся статус-кво в руководстве и спокойствие в стране.

* * *

Суслов проявил наивность, если он действительно думал, что все встанет на свои места и никто не начнет интересоваться, а тем более использовать болезнь Брежнева в своих целях. Первым, кто активно начал интересоваться складывающейся ситуацией и будущим Брежнева, был не кто иной, как ближайший друг и товарищ по партии Подгорный.

Вернувшийся из Крыма Брежнев ни на йоту не изменил ни своего режима, ни своих привычек. И, естественно, вскоре оказался в больнице, на сей раз на улице Грановского. Состояние было не из легких – нарастала мышечная слабость и астения, потеря работоспособности и конкретного аналитического мышления. Не успел Брежнев попасть в больницу, как к нему пришел Подгорный. Для меня это было странно и неожиданно, потому что никогда прежде он не только не навещал Брежнева в больнице, но и не интересовался его здоровьем. Я находился как раз у Брежнева, когда раздался звонок в дверь и у входа в палату я увидел Подгорного. В этот момент я успел сообразить, что он пришел неспроста, хочет увидеть Брежнева в истинном состоянии, а затем «сочувственно» рассказать на Политбюро о своем визите к своему давнему другу и о том, как плохо он себя чувствует.

Пользуясь правом врача, я категорически возразил против подобного посещения, которое пойдет во вред больному. «Ты что, Председателя Президиума Верховного Совета СССР не знаешь? – заявил он мне. – Не забывай, что незаменимых людей в нашей стране нет». Постоянное нервное напряжение привело к тому, что я абсолютно не реагировал даже на неоправданную критику, нападки или грубость по отношению ко мне. Я работал, выполняя честно свой профессиональный долг, и ни на что не обращал внимания. Не поколебала меня и скрытая угроза Подгорного. «Николай Викторович, я должен делать все для блага пациента, для его выздоровления. Сейчас ему нужен покой. Ни я, ни вы не знаем, как он воспримет ваш визит. Он может ему повредить. Если Политбюро интересуется состоянием здоровья Брежнева, я готов представить соответствующее заключение консилиума профессоров». Не обладая большим умом, но будучи большим политиканом, он понял подтекст последней фразы: «Кого ты здесь представляешь – Подгорного, друга и товарища нашего пациента, или Подгорного – члена Политбюро и его полномочного представителя, который должен сам убедиться в истинном положении дел?» Ворча, недовольный Подгорный ушел.

Я тут же сообщил о неожиданном визите Андропову, а тот Суслову. Суслов ничего лучшего не нашел, как сказать тривиальную фразу: «Хорошо, если бы Леонид Ильич скорее выздоровел и мог бы выступить на каком-нибудь большом собрании или совещании».

Это мнение о том, что лидеру необходимо периодически показываться, независимо оттого, как он себя чувствует, которое впоследствии касалось не только Брежнева, но и многих других руководителей партии и государства, стало почти официальным

и носило, по моему мнению, не только лицемерный, но и садистский характер. Садистским по отношению к этим несчастным, обуреваемым политическими амбициями и жаждой власти и пытающимися пересилить свою немощь, свои болезни, чтобы казаться здоровыми и работоспособными в глазах народа.

И вот уже разрабатывается система телевизионного освещения заседаний и встреч с участием Брежнева, а потом и Андропова, где режиссер и оператор точно знают ракурс и точки, с которых они должны вести передачу. В новом помещении для пленумов ЦК КПСС в Кремле устанавливаются специальные перила для выхода руководителей на трибуну. Разрабатываются специальные трапы для подъема в самолет и на Мавзолей Ленина на Красной площади. Кстати, если мне память не изменяет, создателей трапа удостаивают Государственной премии. Верхом лицемерия становится телевизионная передача выступления К. У. Черненко накануне выборов в Верховный Совет СССР в 1985 году. Ради того, чтобы показать народу его руководителя, несмотря на наши категорические возражения, вытаскивают (в присутствии члена Политбюро В. В. Гришина) умирающего К. У. Черненко из постели и усаживают перед объективом телекамеры. Я и сегодня стыжусь этого момента в моей врачебной жизни. Каюсь, что не очень сопротивлялся ее проведению, будучи уверен, что она вызовет в народе реакцию, противоположную той, какую ожидали ее организаторы; что она еще раз продемонстрирует болезнь руководителя нашей страны, чего не признавало, а вернее, не хотело признать узкое окружение советского лидера.

Говорят, что это явление присуще тоталитарным режимам. Но я прекрасно помню ситуацию, связанную с визитом в СССР больного президента Франции Ж. Помпиду. А больные президенты США? Разве они не находились в том же положении, что и советские лидеры?..

* * *

Между тем события, связанные с болезнью Брежнева, начали приобретать политический характер. Не могу сказать, каким образом, вероятнее от Подгорного и его друзей, но слухи о тяжелой болезни Брежнева начали широко обсуждаться не только среди членов Политбюро, но и среди членов ЦК. Во время одной из очередных встреч со мной как врачом ближайший друг Брежнева Устинов, который в то время еще не был членом Политбюро, сказал мне: «Евгений Иванович, обстановка становится сложной. Вы должны использовать все, что есть в

медицине, чтобы поставить Леонида Ильича на ноги. Вам с Юрием Владимировичем надо продумать и всю тактику подготовки его к съезду партии. Я в свою очередь постараюсь на него воздействовать».

При встрече Андропов начал перечислять членов Политбюро, которые при любых условиях будут поддерживать Брежнева. Ему показалось, что их недостаточно. «Хорошо бы, – заметил он, – если бы в Москву переехал из Киева Щербицкий. Это бы усилило позицию Брежнева. Мне с ним неудобно говорить, да и подходящего случая нет. Не могли бы вы поехать в Киев для его консультации, тем более что у него что-то не в порядке с сердцем, и одновременно поговорить, со ссылкой на нас, некоторых членов Политбюро, о возможности его переезда в Москву».

Организовать консультацию не представляло труда, так как тесно связанный с нами начальник 4-го управления Министерства здравоохранения УССР, профессор К. С. Терновой, уже обращался с такой просьбой. После консультации, которая состоялась на дому у Щербицкого, он пригласил нас к себе на дачу в окрестностях Киева.

Был теплый день, и мы вышли погулять в парк, окружавший дачу. Получилось так, что мы оказались вдвоем со Щербицким. Я рассказал ему о состоянии здоровья Брежнева и изложил просьбу его друзей о возможном переезде в Москву. Искренне расстроенный Щербицкий ответил не сразу. Он долго молчал, видимо, переживая услышанное, и лишь затем сказал: «Я догадывался о том, что вы рассказали. Но думаю, что Брежнев сильный человек и выйдет из этого состояния. Мне его искренне жаль, но в этой политической игре я участвовать не хочу».

Вернувшись, я передал Андропову разговор со Щербицким. Тот бурно переживал и возмущался отказом Щербицкого. «Что же делать? – не раз спрашивал Андропов, обращаясь больше к самому себе. – Подгорный может рваться к власти». Политически наивный, не разбирающийся в иерархии руководства, во внутренних пружинах, управляющих Политбюро, я совершенно искренне, не задумываясь, заметил: «Юрий Владимирович, но почему обязательно Подгорный? Неужели не может быть другой руководитель – вот вы, например?» «Больше никогда и нигде об этом не говорите, еще подумают, что это исходит от меня, – ответил Андропов. – Есть Суслов, есть Подгорный, есть Косыгин, есть Кириленко. Нам надо думать об одном: как поднимать Брежнева. Остается одно – собрать весь материал с разговорами и мнениями о его болезни, недееспособности, возможной замене. При всей своей апатии лишаться поста лидера партии и государства он не захочет, и на этой политической амбиции надо

сыграть».

Конечно, Андропов в определенной степени рисковал. Только что подозрительный Брежнев отдалил от себя одного из самых преданных ему лиц – своего первого помощника Г. Э. Цуканова. Говорили, что сыграли роль наветы определенных лиц, и даже определенного лица. Сам Георгий Эммануилович говорил, что произошло это не без участия Н.Я и сегодня не знаю, чем была вызвана реакция Брежнева. Но то, что у больного Брежнева появилась подозрительность, было фактом.

* * *

К моему удивлению, план Андропова удался. При очередном визите я не узнал Брежнева. Прав был Щербицкий, говоря, что он сильный человек и может «собраться». Мне он прямо сказал: «Предстоит XXV съезд партии, я должен хорошо на нем выступить и должен быть к этому времени активен. Давай, подумай, что надо сделать».

Первое условие, которое я поставил – удалить из окружения Н., уехать на время подготовки к съезду в Завидово, ограничив круг лиц, которые там будут находиться и, конечно, самое главное – соблюдать режим и предписания врачей.

Сейчас я с улыбкой вспоминаю те напряженные два месяца, которые потребовались нам для того, чтобы вывести Брежнева из тяжелого состояния. С улыбкой, потому что некоторые ситуации, как например, удаление из Завидова медицинской сестры Н., носили трагикомический характер. Конечно, это сегодняшнее мое ощущение, но в то время мне было не до улыбок. Чтобы оторвать Н. от Брежнева, был разработан специальный график работы медицинского персонала. Н. заявила, что не уедет, без того чтобы не проститься с Брежневым. Узнав об этом, расстроенный начальник охраны А. Рябенко сказал мне: «Евгений Иванович, ничего из этой затеи не выйдет. Не устоит Леонид Ильич, несмотря на все ваши уговоры, и все останется по-прежнему». Доведенный до отчаяния сложившейся обстановкой, я ответил: «Александр Яковлевич, прощание организуем на улице, в нашем присутствии. Ни на минуту ни вы, ни охрана не должны отходить от Брежнева. А остальное я беру на себя».

Кавалькада, вышедшая из дома навстречу с Н., выглядела, по крайней мере, странно. Генерального секретаря я держал под руку, а вокруг, тесно прижавшись, шла охрана, как будто мы не в изолированном от мира Завидове, а в городе, полном террористов. Почувствовав, как замешкался Брежнев, когда Н.

начала с ним прощаться, не дав ей договорить, мы пожелали ей хорошего отдыха. Кто-то из охраны сказал, что машина уже ждет. Окинув всех нас, стоящих стеной вокруг Брежнева, соответствующим взглядом, Н. уехала. Это было нашим первым успехом.

То ли политические амбиции, о которых говорил Андропов, то ли сила воли, которая еще сохранялась у Брежнева, на что рассчитывал Щербицкий, но он на глазах стал преображаться. Дважды в день плавал в бассейне, начал выезжать на охоту, гулять по парку. Дней через десять он заявил: «Хватит бездельничать, надо приглашать товарищей и садиться за подготовку к съезду».

Зная его истинное состояние, мы порекомендовали ему не делать длинного доклада, а, раздав текст, выступить только с изложением основных положений. Он ответил так, как тогда отвечали многие руководители: «Такого у нас еще не было, есть сложившийся стиль партийных съездов, и менять его я не намерен. Да и не хочу, чтобы кто-то мог подумать, что я немощный и больной».

* * *

24 февраля 1976 года 5 тысяч делегатов XXV съезда партии бурно приветствовали своего Генерального секретаря.

Доклад продолжался более четырех часов, и только небольшая группа – его лечащий врач М. Косарев, я да охрана знали, чего стоило Брежневу выступить на съезде. Когда в перерыве после первых двух часов выступления мы пришли к нему в комнату отдыха, он сидел в прострации, а рубашка была настолько мокрая, как будто он в ней искупался. Пришлось ее сменить. Но мыслил он четко и, пересиливая себя, даже с определенным воодушевлением, пошел заканчивать свой доклад.

Конечно, даже неискушенным взглядом было видно, что Брежнев уже не тот, который выступал на XXIV съезде партии. Появились дизартрия, вялость, старческая шаркающая походка, «привязанность» к тексту, характерные для человека с атеросклерозом мозговых сосудов.

Но для большинства партийного актива, присутствовавшего на съезде, главное было то, что, несмотря на все разговоры и домыслы, Генеральный секретарь на трибуне, излагает конкретные предложения, рассказывает об успехах внешней политики, предлагает новые подходы, а это значит, что жизнь будет идти по-прежнему, не будет больших перемен, и можно

быть спокойным за свое личное будущее.

И зазвучали речи, в которых восхвалялась мудрость партийного руководства, прозорливость Генерального секретаря. Даже в выступлениях тех, кто в дальнейшем поддерживал демократические изменения в партии и стране, зазвучали слова преклонения перед гением Брежнева.

Из выступления Э. А. Шеварднадзе: «Продолжая разговор о личности руководителя, хочу сказать несколько слов о Политбюро ЦК КПСС и о товарище Леониде Ильиче Брежневе. Слово о Генеральном секретаре Центрального Комитета партии – это вовсе не похвальное слово его личности, а сугубо партийный, деловой съездовский разговор. Вопрос этот принципиальный. Стараясь, хотя бы в общих чертах, передать его политические, интеллектуальные, деловые, человеческие качества, мы хотим тем самым, по крайней мере, как говорят художники, эскизно обрисовать портрет лидера нашей партии и народа, виднейшего политического деятеля современного мира, на примере которого мы должны воспитывать себя и других, которому мы должны во всем следовать, у которого необходимо учиться нам трудиться по-ленински, мыслить по-ленински, жить по-ленински.

В старину говорили, что чем чище небо, тем выше можно взлететь, тем большую силу обретают крылья. Леонид Ильич Брежнев, его славные соратники и вся наша партия создают это чистое и безоблачное небо над нами, создают атмосферу, когда люди всем своим существом устремляются ввысь, в чистое небо, к прозрачным, светлым вершинам коммунизма».

Не сами ли мы вот такими выступлениями породили «феномен Брежнева»? Не сами ли мы создали тот ореол гениального руководителя, в который в то же время никто не верил? Не сами ли мы своим подхалимством позволили Брежневу уверовать в свое величие и непогрешимость? Вероятно, только у нас вот так могут создавать себе кумиров, которых потом сами же чуть не проклинают, но терпят до конца.

* * *

Что я четко уяснил из сложных политических коллизий, прошедших на моих глазах, так это то, что ради пользы страны и народа руководитель не должен оставаться на своем посту более десяти лет.

Уйди Брежнев с поста лидера в 1976 году, он оставил бы после себя хорошую память. Один из умных людей из его окружения в шутку сказал на это: «Даже по наградам». К этому

времени у него не было еще ордена «Победы», да и медалей Героя было всего две. Скромно по тем временам, если учесть, что у Н. С. Хрущева их было три. Но судьба сыграла злую шутку со страной и партией. Она оставила еще почти на 7 лет больного лидера, терявшего не только нити управления страной, но и критическую оценку ситуации в стране и в мире, а самое главное, критическое отношение к себе, чем поспешили воспользоваться подхалимы, карьеристы, взяточники, да и просто бездельники, думавшие только о своем личном благополучии.

Несомненно, большое значение имел и тот факт, что Брежнев лишился внутри страны политических противников. Он не забыл предсъездовской активности Подгорного и с помощью своего ближайшего окружения – Устинова, Андропова, Кулакова и начавшего набирать силу Черненко – нанес удар по нему и Полянскому на съезде. Как правило, состав ЦК предопределялся до съезда, прорабатывались и создавались определенные механизмы выборов, которые, в частности, обеспечивали почти единогласное избрание в состав ЦК членов Политбюро. На сей раз два члена Политбюро – Подгорный и Полянский – получили большое количество голосов «против», которое должно было отражать негативное отношение к ним значительной группы делегатов съезда. Стало ясным, что создается мнение в партийных кругах, что широкие массы членов партии недовольны деятельностью этих двух членов Политбюро. Большинству было понятно, что в политической борьбе опять победил Брежнев, а дни Подгорного и Полянского в руководстве партии и страны сочтены.

Так в дальнейшем и оказалось. Через год, 16 июня 1977 года, вместо Подгорного Председателем Президиума Верховного Совета СССР избирают Л. И. Брежнева, который впервые объединил в одном лице руководство партией и государством. Вскоре послом в Японию уехал Полянский.

* * *

…Мы понимали, что напряжение съезда, работа на пределе сил не пройдут для Брежнева даром и что в ближайшее время следует ожидать «разрядки», которая может привести к глубоким изменениям в состоянии его здоровья и личности. Однако так, как это произошло – быстро, с необычной для него агрессией – даже я не ожидал.

По сложившимся обычаям, после окончания съезда делегации областей и республик собирались на товарищеский ужин.

Собралась и делегация Ставрополья, куда ее руководитель М. С. Горбачев пригласил и меня, входившего в ее состав. Встреча была оживленной, веселой, звучали тосты, поднимались бокалы с вином и рюмки с коньяком. Хорошее настроение человека, честно выполнившего свой профессиональный долг, было и у меня. Но где-то я ловил себя на том, что определенный горький осадок от всего пережитого есть, тем более что ни Брежнев, ни его окружение, которому удалось сохранить свою власть и положение, не сказали мне даже «спасибо».

Я привык к тому времени к человеческой неблагодарности и спокойно относился к подобным ситуациям. Однако в этот вечер мне пришлось получить еще один урок.

Часов около 11 вечера, когда я вернулся домой, раздался звонок, и я услышал необычный, почему-то заикающийся голос Рябенко, который сказал, что со мной хотел бы поговорить Брежнев. Я ожидал слова благодарности, но вместо этого услышал труднопередаваемые упреки, ругань и обвинения в адрес врачей, которые ничего не делают для сохранения его здоровья, здоровья человека, который нужен не только советским людям, но и всему миру. Даже сейчас мне неприятно вспоминать этот разговор, в котором самыми невинными фразами было пожелание, чтобы те, кому следует, разобрались в нашей деятельности и нам лучше лечить трудящихся в Сибири, чем руководство в Москве. Последовало и дикое распоряжение, чтобы утром стоматологи из ФРГ, которые изготавливали ему один за другим зубные протезы, были в Москве. В заключение он сказал, чтобы ему обеспечили сон и покой.

Я понимал, что это реакция больного человека и что то, чего мы боялись, произошло – начался затяжной срыв. Но сколько можно терпеть? И ради чего? Андропов постоянно убеждает, что ради спокойствия страны, ради спокойствия народа и партии. А может быть, все это не так? Может быть, народу безразлично, кто будет его лидером? Может быть, это надо Андропову, Устинову, Черненко и другим из окружения Брежнева? Впервые у меня появились сомнения.

Несмотря на поздний час, я позвонил Андропову на дачу. Рассказав о разговоре, я заявил, что завтра же подам заявление о моей отставке, что терпеть незаслуженные оскорбления не хочу, да и не могу, что я достаточно известный врач и ученый, чтобы держаться, как некоторые, за престижное кресло. Андропов в первый момент не знал, что ответить на мою гневную и эмоциональную тираду, не знал, как отреагировать на мое возмущение. Он начал меня успокаивать, повторяя неоднократно, что надо быть снисходительным к больному человеку, что угрозы

Брежнева наиграны, потому что он уже не может обходиться без нас, понимает, что мы – его единственное спасение. Видимо, понимая мое состояние, начал опять говорить о наших больших заслугах в восстановлении здоровья Брежнева, который вопреки всем прогнозам смог провести съезд. Но я уже ничему не верил. Часа через полтора, уже ночью, видимо, поговорив еще с кем-то, он позвонил снова. «Я говорю не только от своего имени, но и от имени товарищей Леонида Ильича. Мы понимаем вашу обиду, понимаем, как вам тяжело, но просим остаться, так как никто лучше вас Брежнева не знает, никому, чтобы он ни говорил, он так, как вам, не доверяет». И заключил: «И это моя личная большая просьба». Не знаю, что на меня подействовало – может быть, тон разговора с Андроповым, может быть, прошла первая реакция, но я успокоился и ответил ему, что нам надо встретиться, потому что Брежнев вступил в полосу таких непредсказуемых изменений функции центральной нервной системы, из которой уже вряд ли когда-нибудь выйдет.

* * *

Именно с этого времени – времени после XXV съезда партии – я веду отсчет недееспособности Брежнева как руководителя и политического лидера страны, и в связи с этим – нарождающегося кризиса партии и страны.

Он усугубился несчастьем, которое произошло в том же, 1976 году. Оно имело большее значение, чем уход с политической арены Подгорного. Случилось оно в воскресенье, 1 августа. Стоял прекрасный летний день, и я, пользуясь свободным временем, решил съездить за город, где в двадцати минутах езды у меня был небольшой финский дом. После обеда раздался звонок, сейчасуже не помню откуда, и взволнованный голос сообщил, что только что перевернулась лодка, в которой находился Косыгин, его едва удалось спасти, и сейчас он находится в тяжелом состоянии в военном госпитале в Архангельском, вблизи места, где произошел инцидент. Это недалеко от моего дома, и уже через 20 минут я был в госпитале.

Оказалось, что Косыгин, увлекавшийся академической греблей, отправился на байдарке-одиночке. Как известно, ноги гребца в байдарке находятся в специальных креплениях, и это спасло Косыгина. Во время гребли он внезапно потерял ориентацию, равновесие и перевернулся вместе с лодкой. Пока его вытащили, в дыхательные пути попало довольно много воды. Когда я увидел его в госпитале, он был без сознания, бледный, с

тяжелой одышкой. В легких на рентгеновском снимке определялись зоны затемнения. Почему Косыгин внезапно потерял равновесие и ориентацию? Было высказано предположение, что во время гребли у него произошло нарушение кровообращения в мозгу с потерей сознания, после чего он и перевернулся. Наш ведущий невропатолог академик Е. В. Шмидт и нейрохирург академик А. Н. Коновалов полностью подтвердили этот диагноз, а затем он был уточнен и объективными методами исследования. К счастью, разорвался сосуд не в мозговой ткани, а в оболочках мозга, что облегчало участь Косыгина и делало более благоприятным прогноз заболевания.

Как бы там ни было, но самой судьбой был устранен еще один из возможных политических оппонентов Брежнева. Теперь ему уже некого было опасаться. Он и не скрывал своих планов поставить вместо Косыгина близкого ему Тихонова, с которым работал еще в Днепропетровске. Косыгин находился еще в больнице, когда 2 сентября 1976 года появился указ о назначении Тихонова первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, и он начал руководить Советом Министров, хотя продолжал работать другой первый заместитель Председателя, к тому же член Политбюро, – К. Т. Мазуров.

Сильный организм Косыгина, проводившееся лечение, в том числе разработанный комплекс восстановительной терапии, позволили ему довольно быстро не только выйти из тяжелого состояния, но и приступить к работе. Но это был уже не тот Косыгин, смело принимавший решения, Косыгин – борец, отстаивающий до конца свою точку зрения, четко ориентирующийся в развитии событий. После ухода в 1978 году на пенсию К. Т. Мазурова остался лишь один первый заместитель Председателя Совета Министров – Тихонов, который активно забирал власть в свои руки, пользуясь прямыми связями с Брежневым. Это был человек Брежнева, преданный ему до конца. Но и по масштабам знаний, и по организаторским возможностям ему было далеко до Косыгина. Экономика страны потеряла своего талантливого руководителя.

* * *

В этот период на политическую арену активно выходит Черненко. Для многих в стране, да и в окружении Брежнева, его быстрый взлет на самые первые позиции в руководстве партии был неожиданностью. Однако, если исходить из нарастающей

недееспособности Брежнева, которому в связи с этим требовался честный, преданный и ответственный человек, в определенной степени второе «я», то лучшей фигуры, чем Черненко, трудно было себе представить. Его пытаются изобразить простым канцеляристом, оформлявшим документы. Это глубокое заблуждение. Да, он не был эрудитом, не имел он и своих идей или конструктивных программ. Ему было далеко не только до Андропова или Косыгина, но даже до догматика Суслова. Но вряд ли кто-нибудь лучше, чем он, мог обобщить коллективное мнение членов Политбюро, найти общий язык в решении вопроса с людьми прямо противоположных взглядов – Андроповым и Сусловым, Устиновым и Косыгиным. Но самое главное, благодаря чему он всплыл на поверхность, было то, что никто лучше него не понимал, чего хочет Брежнев, и никто лучше Черненко не мог выполнить его пожелания или приказания.

Надо сказать, что делал это Черненко подчеркнуто ответственно; любой, даже самый мелкий вопрос окружал ореолом большой государственной значимости. Вспоминаю, как он гордился, составив с группой консультантов небольшое заключительное выступление Брежнева на XXV съезде, где, кроме нескольких общих фраз, ничего не было.

Очень часто у нас пытаются связать восхождение к власти с интересами и поддержкой определенных политических групп. Если это можно сказать о Брежневе, то восхождение к руководству и Андропова, и в большей степени Черненко определялось сложившейся ситуацией. Но если приход Андропова к руководству означал новый курс, новые веяния, новые подходы, то мягкий, нерешительный, далекий от понимания путей развития страны и общества Черненко вряд ли мог что-нибудь принести народу. Справедливости ради надо сказать, что при всем при том он был добрый человек, готовый по возможности помочь, если это не шло вразрез с его интересами и интересами Брежнева.

В ноябре 1978 года Черненко становится членом Политбюро. Брежнев, конечно, с подачи Андропова, продолжал укреплять свои позиции. Еще ранее министром обороны назначается его ближайший друг Устинов, который вскоре тоже вошел в состав Политбюро. Наконец, в ноябре 1979 года членом Политбюро избирается Тихонов. Теперь Брежнев мог жить спокойно, не опасаясь за свое положение в партии и государстве.

* * *

Складывающаяся ситуация, как это ни парадоксально, способствовала прогрессированию болезни Брежнева. Уверовав в свою непогрешимость и незаменимость, окруженный толпой подхалимов, увидев, что дела идут и без его прямого вмешательства, и не встречая не только сопротивления, но и видимости критики, он переложил на плечи своих помощников по Политбюро ведение дел, полностью отмахнулся от наших рекомендаций и стал жить своей странной жизнью. Жизнью, которая складывалась из 10–12 часов сна, редких приемов делегаций, коротких, по 2 часа, заседаний Политбюро один раз в неделю, поездок на любимый хоккей, присутствия на официальных заседаниях. Я не помню, чтобы я застал его за чтением книги или какого-нибудь «толстого» журнала. Из прошлого режима он сохранил лишь привычку по утрам плавать в бассейне да выезжать в Завидово на охоту.

Вновь, как и раньше, при малейшем психоэмоциональном напряжении, а иногда и без него, он начинал употреблять успокаивающие средства, которые доставал из разных источников. Они способствовали прогрессированию процессов старения, изменениям центральной нервной системы, ограничению его активности. Понимая, что Брежнев уже недееспособен, во время одной из наших встреч я сказал Андропову, что вынужден информировать Политбюро о его состоянии, ибо не могу взять на себя ответственность за будущее Брежнева и партии.

К удивлению, в отличие от прошлого, Андропов со мной согласился, попросив только «не сгущать краски». Видимо, настолько изменилась политическая ситуация и обстановка в Политбюро, что Андропов уже не боялся за положение Брежнева, а значит, и за свое будущее.

Трудно вспомнить сегодня, сколько официальных информации о состоянии здоровья Брежнева мы направили в Политбюро за последние 6–7 лет его жизни. Возможно, они еще хранятся в каких-то архивах. Однако спокойствие Андропова было обоснованным – ни по одному письму не было не то что ответной реакции, но никто из членов Политбюро не проявил даже минимального интереса к этим сведениям. Скрывать немощь Генерального секретаря стало уже невозможным. Но все делали «хорошую мину при плохой игре», делая вид, как будто бы ничего с Брежневым не происходит, что он полон сил и активно работает.

* * *

Один такой случай описал в своих «Воспоминаниях» Э. Герек, – выступление Брежнева в октябре 1979 года на праздновании 30-летия ГДР. Он памятен для меня по целому ряду обстоятельств. В начале октября, когда Брежнев должен был выехать в ГДР во главе делегации, проходил Всесоюзный съезд кардиологов, на котором предполагалось избрать меня председателем правления (президентом) этого общества. Мы заранее договорились с Брежневым, что, в связи с моим участием в работе съезда, я не поеду в Берлин. Однако за три дня до отъезда он впал в состояние такой астении, что почти не вставал с постели, и сама поездка стала проблематичной. Нам стоило больших трудов активизировать его.

Андропов, учитывая сложившуюся ситуацию, попросил меня оставить съезд, на котором я уже председательствовал, и выехать в Берлин.

Первое испытание для нас выпало в первый же день, когда Брежнев должен был выступить с докладом на утреннем заседании, посвященном 30-летию ГДР. Для того чтобы успокоиться и уснуть, он вечером, накануне выступления, не оценив своей астении, принял какое-то снотворное, которое предложил ему кто-то из услужливых друзей. Оно оказалось для него настолько сильным, что, проснувшись утром, он не мог встать. Когда я пришел к нему, он, испуганный, сказал только одно: «Евгений, я не могу ходить, ноги не двигаются». До его доклада оставался всего час. Мы делали все, чтобы восстановить его активность, но эффекта не было. Кавалькада машин уже выстроилась у резиденции, где мы жили. Громыко и другие члены делегации вышли на улицу и нервничали, боясь опоздать на заседание. Мы же ничего не могли сделать – не помогали ни лекарственные стимуляторы, ни массаж.

Я предложил, чтобы делегация выехала на заседание и, если через 30 минут мы не появимся, принимала решение о дальнейших действиях. Нервное напряжение достигло апогея. Наконец вместе с охраной, которая переживала ситуацию не меньше нас, врачей, мы решили вывести Брежнева на улицу, в сад, и попытаться заставить его идти. Удивительные от природы силы были заложены в организме Брежнева. Из дома мы его в буквальном смысле вынесли, когда же его оставили одного и предложили ему идти, он пошел самостоятельно, сел в машину, и мы поехали на заседание.

Истинное состояние Брежнева на заседании знали только я и начальник охраны правительства Ю. В. Сторожев. Ответственный и честный человек, он не меньше меня переживал ту ситуацию, в которой мы оказались, и попросил немецких друзей проследить

за Брежневым, когда он будет выходить на трибуну. Мы сидели вдали от него и ничем ему помочь не могли.

Герек описывает, как он вместе с немецкими товарищами помог Брежневу выйти на трибуну. Он пишет, что впоследствии ему через посла был выражен официальный протест в связи с его желанием помочь Брежневу подняться. Я бы выразил ему благодарность, потому что не уверен, смог ли бы вообще встать Брежнев со стула без посторонней помощи.

Тридцать минут выступления Брежнева мы сидели как на углях – выдержит он или не выдержит? К счастью и к моему удивлению, все закончилось благополучно. Но, я думаю, и у меня, и у Сторожева, и у всех, кто вместе с нами пережил этот тяжелейший момент визита, память о нем должна была остаться либо еще одним седым волосом, либо еще одной отметкой на сердце или сосуде.

В ходе визита были и другие моменты, указывающие на немощь Брежнева, – было перенесено из-за него начало торжественного шествия; с официального обеда он, сославшись на мои пожелания, которых на самом деле я не высказывал, ушел раньше, чем он закончился. Громыко и другие члены делегации были свидетелями всех этих печальных ситуаций, но ни один из них, вернувшись в Москву, словом не обмолвился о том, что происходило в Берлине.

* * *

Можно было бы много говорить об информированности различных кругов советского общества о той ситуации, которая складывалась в конце 70-х – начале 80-х годов, говорить о начавшемся разложении общества, когда на махинации, приписки к выполненным работам, коррупцию, мелкое воровство стали смотреть как на неизбежное зло. Была единственная организация, которую боялись и которая сохранила, больше благодаря своему руководству, бескорыстное служение тому государственному строю, который ее породил. Это был КГБ, защищавший идеи социализма, единство многонационального государства и существовавшие порядки. Эта организация не только контролировала жизнь общества, но и регулировала общественное мнение, в том числе и путем подавления идей, не совместимых с идеями социализма или существующего государственного строя. Эта многоликая и могущественная организация, подчинявшаяся через Андропова только Брежневу, предопределяла не только решение многих вопросов, но и в

определенной степени жизнь общества.

Защита имени Брежнева, его престижа была одной из важных задач этой организации. И, видимо, она успешно справлялась с этой задачей, если на протяжении многих лет общество не знало об истинном состоянии дел в руководстве страны и терпело, а в какой-то степени и сочувствовало больному лидеру страны.

Такой же защитой и созданием определенного образа мудрого руководителя страны, тесно связанного с народом, занимался и мощный пропагандистский аппарат КПСС. Вспомним тот искусственно созданный бум, захвативший не только простых людей, но и представителей творческой интеллигенции после выхода в свет в 1978 году так называемых воспоминаний Брежнева «Малая Земля», «Возрождение» и «Целина». Я совершенно случайно узнал, что готовится издание таких «воспоминаний». Однажды в разговоре Брежнев сказал, что будет очень занят, так как с товарищами должен поработать над материалами воспоминаний. «Товарищи убедили меня, – продолжал он, – опубликовать воспоминания о пережитом, о работе, войне, партии. Это нужно народу, нужно нашей молодежи, воспитывающейся на примере отцов». «Товарищи убедили»– это я слышал от него не раз, когда он получал либо орден, либо Золотую Звезду Героя, либо звание маршала.

Сейчас речь шла о книге. В принципе нет ничего зазорного в том, что руководитель такого ранга, как Брежнев, издает мемуары – он многое видел, встречался со многими интересными людьми, он непосредственный свидетель важнейших событий в жизни страны и мира. Вопрос только в том, как создаются эти мемуары, какой характер они носят и как они воспринимаются. Мемуары Брежнева создавались в период, когда у него в значительной степени отсутствовала способность к критической самооценке и когда карьеристы и подхалимы внушили ему веру в его величие и непогрешимость.

Над мемуарами трудилась группа журналистов, среди которых я знал В. И. Ардаматского и В. Н. Игнатенко, работавшего затем помощником президента М. С. Горбачева по связям с прессой. Воспоминания, может быть, представляющие интерес с точки зрения оценки истории, в литературном отношении оказались серенькими и скучными. Но и это было бы полбеды, если бы не созданная ответственными работниками ЦК обстановка своеобразной истерии вокруг книги, вызвавшей обратную реакцию в народе. Воспоминания читались по радио и телевидению, изучались в школах и институтах, в системе партийного просвещения.

* * *

Те, кто заронил в сознание больного Брежнева мысль об издании мемуаров в том виде, в котором они были опубликованы, сыграли с ним злую шутку. Брежнев воспринимал весь ажиотаж как истинное признание его литературных заслуг. Да и как было иначе воспринимать человеку с пониженной самокритикой высказывания, например, секретаря правления Союза писателей СССР В. А. Коротича (позже в годы «перестройки» являвшегося редактором журнала «Огонек»), опубликованные в журнале «Политическое самообразование»:

«Воспоминания» Леонида Ильича Брежнева – книга удивительно своевременная. Впервые изданная в дни, когда вокруг советской страны особенно энергично возбуждали целый океан недружелюбия, когда все те силы, что до сих пор еще не простили нам Октябрь, стремились в очередной раз скомпрометировать и унизить завоевания Революции, вышла честная и точно адресованная книга Леонида Ильича Брежнева, сразу же прозвучавшая на весь мир…

«…На наших рабочих столах лежит новая, очень злободневная и точная книга Леонида Ильича Брежнева. Адресованная нам с вами, она не случайно вызвала такой интерес во всем мире. Глава наших государства и партии с самого начала вспоминает свой жизненный путь; уроки этого пути поучительны и незаурядны». (Текст цитируется по факсимильному оригиналу рукописи.)

Конечно, здравомыслящий руководитель и критически мыслящий человек без труда распознал бы в подобных приветствиях и обращениях (а он их получал сотнями) обычное проявление подхалимства, которым, к сожалению, бывала тогда богата не только «чиновничья» среда, но и среда творческой интеллигенции. И конечно, он не позволил бы присуждать себе, да еще под «барабанный бой прессы и телевидения» Ленинскую премию в области литературы за не созданное им (к тому же слабое) произведение. Но Брежнев в этот период уже не мог реально оценивать ни обстановку, ни свои действия.

Только этим можно объяснить продвижение, с подачи подхалимов и некоторых членов семьи, своих близких родственников и их друзей на руководящие должности. Не было бы ничего плохого, если бы они выдвигались по своим заслугам, таланту или организаторским способностям. Однако уровень общего развития и знаний у большинства из них был таков, что их продвижение по служебной лестнице вызывало у большинства недоумение, улыбку и скептицизм. Все это рикошетом ударяло по

престижу Брежнева. Было, например, образовано надуманное Министерство машиностроения для животноводства и кормопроизводства, которое возглавил свояк Брежнева – К. Н. Беляк. А разве соответствовал по своим знаниям и способностям должности первого заместителя министра внешней торговли сын Брежнева? О зяте – Чурбанове – написано столько, что нет необходимости еще раз говорить об этой одиозной фигуре…

* * *

Нам, врачам, с каждым годом становилось все труднее и труднее поддерживать в Брежневе даже видимость активного и разумного руководителя. Его центральная нервная система была настолько изменена, что даже обычные успокаивающие средства являлись для него сильнодействующими препаратами. Все наши попытки ограничить их прием были безуспешными благодаря массе «доброжелателей», готовых выполнить любые просьбы Генерального секретаря. Были среди них и Черненко, и Тихонов, и многие другие из его окружения. И это при том, что по нашей просьбе Андропов предупредил их всех о возможной опасности применения любых подобных средств Брежневым.

Сам Андропов очень хорошо вышел из положения. По нашему предложению, он передавал вместо лекарств точные по внешнему виду «пустышки», которые специально изготавливались. В самом сложном положении оказался заместитель Андропова С. Цвигун. Брежнев, считая его своим близким и доверенным человеком, изводил его просьбами об успокаивающих средствах. Цвигун метался, не зная, что делать – и отказать невозможно, и передать эти средства – значит усугубить тяжесть болезни. А тут еще узнавший о ситуации Андропов предупреждает: «Кончай, Семен, эти дела. Все может кончиться очень плохо. Не дай Бог, умрет Брежнев даже не от этих лекарств, а просто по времени совпадут два факта. Ты же сам себя проклинать будешь».

В январе 1982 года после приема безобидного ативана у Брежнева развился период тяжелой астении. Как рассказывал Андропов, накануне трагического 19 января он повторил свое предупреждение Цвигуну. Днем 19 января я был в больнице, когда раздался звонок врача нашей скорой помощи, который взволнованно сообщил, что, выехав по вызову на дачу, обнаружил покончившего с собой Цвигуна. Врач был растерян и не знал, что делать в подобной ситуации. Сообщение меня ошеломило. Я хорошо знал Цвигуна и никогда не мог подумать, что этот сильный, волевой человек, прошедший большую жизненную

школу, покончит жизнь самоубийством.

Я позвонил Андропову и рассказал о случившемся. По его вопросам я понял, что это было для него такой же неожиданностью, как и для меня. Единственное, о чем он попросил, чтобы мы никого не информировали, особенно органы МВД (зная отношения в то время МВД и КГБ, мы не собирались этого делать), сказал, что срочно будет направлена следственная группа, с которой и надо нашим товарищам решать все формальные вопросы.

Как мне показалось, Брежнев, или в силу сниженной самокритики, или по каким-то другим причинам, более спокойно, чем Андропов, отнесся к этой трагедии. К этому времени это был уже глубокий старик, отметивший свое 75-летие, сентиментальный, мягкий в обращении с окружающими, в какой-то степени «добрый дедушка». Как и у многих стариков с выраженным атеросклерозом мозговых сосудов, у него обострилась страсть к наградам и подаркам.

Он спокойно, без больших волнений пережил период XXVI съезда партии. Поддержанный всем Политбюро, да и большинством партийных руководителей, курс «на стабильность кадров» сохранил во главе партии и государства недееспособного лидера. В стране складывалась все более неопределенная ситуация, и большинство понимали, что все держится на фигуре дряхлого, больного Брежнева и что его уход из жизни может вызвать непредсказуемые последствия.

* * *

В этот период, внешне незаметно, начали складываться две группы, которые могли в будущем претендовать на руководство партией и страной. Одна – лидером которой был Андропов, вторая – которую возглавлял Черненко. Начало противостояния этих двух групп я отношу к периоду непосредственно после смерти Суслова. И партия, и народ спокойно восприняли потерю второго человека в партии – Суслова. Многие совершенно справедливо считали, что с его именем связан не только догматизм, процветавший в партии, но и консерватизм, пронизывавший не только жизнь общества, но и все сферы государственной деятельности. Если бы меня спросили, кого из литературных героев он напоминает мне по складу характера, принципам и человеческим качествам, то я бы, не задумываясь, ответил: персонаж из рассказа А. П. Чехова «Человек в футляре», учителя Беликова. Сходство даже не только в том, что Суслов

долгое время ходил, как и Беликов, в калошах, любил длинные пальто старых моделей, а в основном принципе, которого всегда придерживался, – «так не может быть, потому что так не было».

Первый раз я столкнулся с ним в начале 1970 года, когда шла подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Из каких-то источников Суслов, возглавлявший подготовку к празднованию юбилея, узнал, что будто бы некоторые антисоветские круги за рубежом хотят организовать провокацию путем публикации фальшивки, доказывающей, что В. И. Ленин страдал сифилисом и что это явилось причиной его ранней инвалидности и смерти. Подобная фальшивка была разоблачена еще в 20-е годы врачами, которые лечили Ленина. Только присущей Суслову перестраховкой можно объяснить его просьбу ко мне – вместе с ведущими учеными страны и теми, кто знает этот вопрос, подготовить и опубликовать материалы об истинных причинах болезни и смерти Ленина. Это должно было, по его мнению, предупредить различного рода инсинуации в отношении болезни первого главы Советского государства.

Первая трудность, с которой мне пришлось столкнуться, – найти материалы, связанные с ранением Ленина эсеркой Каплан в 1918 году, истории его болезни, заключения ведущих западных, (в основном австрийских и немецких) профессоров, дневники, которые вел медицинский персонал. По моей просьбе мне было предоставлено право пользоваться любыми архивами в нашей стране. Оказалось, что после 1924 года, года смерти Ленина, никто не интересовался подобными материалами.

Наибольший интерес представляли архивы Института марксизма-ленинизма. Пожилая женщина-архивариус, небольшого роста, по внешнему виду типичная представительница старой гвардии большевиков, была неподдельно удивлена, когда руководство института попросило ее помочь мне в моих поисках. «Вот уж никогда не думала, что кому-нибудь когда-нибудь они могут понадобиться. Пойдемте, посмотрим, есть у меня один шкафчик, по-моему, в нем можно для вас кое-что найти». Каково же было мое удивление, когда в старом, запылившемся двустворчатом книжном шкафу мы нашли не только некоторые истории болезни, дневник, который постоянно вел фельдшер, но и гистологические препараты сосудов, сделанные после смерти Ленина. Эти препараты представляли для нас колоссальный интерес, ибо мы сами могли оценить характер патологического процесса, приведшего к смерти.

Проблем с установлением причин болезни и смерти Ленина у нас не оказалось. Клинические материалы, гистологические

препараты, заключения специалистов в период болезни я представил ведущим ученым нашей страны, таким, как невропатолог академик медицины Е. В. Шмидт, патологоанатом академик медицины А. И. Струков. Материалы и заключение о характере поражения мозга представил организатор и директор Института мозга академик медицины С. Саркисов. Этот институт был создан после смерти Ленина специально для изучения его мозга. Все единодушно подтвердили диагноз, установленный в 20-е годы, – атеросклероз сонных артерий, явившийся причиной повторных инсультов. С позиции данных, которые в это время были получены у нас в Кардиологическом центре, относительно ранний характер поражения сонной артерии мы связали со сдавливанием этого сосуда гематомой, образовавшейся после ранения, которую вовремя не удалили. Никаких указаний на возможное наличие сифилитических изменений в сосудах и мозгу не было. Изумляло другое – обширность поражений мозговой ткани при относительно сохранившихся интеллекте, самокритике и мышлении.

Мы высказали предположение, что возможности творческой работы Ленина после перенесенного инсульта были связаны с большими компенсаторными свойствами его мозга. Такое заключение было подписано также и бывшим тогда министром здравоохранения СССР Б. В. Петровским. Однако именно последнее предположение не только задержало публикацию интересного, даже с медицинской точки зрения, материала, но и вызвало своеобразную реакцию Суслова. Ознакомившись с заключением, он сказал: «Вы утверждаете, что последние работы Ленина были созданы им с тяжело разрушенным мозгом. Но ведь этого не может быть. Не вызовет ли это ненужных разговоров и дискуссий?» Мои возражения и доказательства колоссальных возможностей мозговой ткани он просто не принял и приказал подальше упрятать наше заключение.

Я уже стал забывать об этом материале, когда лет через 8–9 мне позвонил Андропов (видимо, это было после появления нашумевшей в то время пьесы М. Шатрова) и спросил, где хранятся история болезни Ленина и наше заключение. Оказывается, Суслов вспомнил о нем и просил уточнить у Андропова, не знакомили ли мы кого-то с нашими данными. Когда я ответил отрицательно, Андропов попросил, чтобы все материалы, касающиеся Ленина и Сталина, были переданы в ЦК. Он очень удивился, узнав, что в 4-м управлении нет никаких материалов о болезни и смерти ни того ни другого.

* * *

Первые встречи с Сусловым, его сухость, черствость, склонность к перестраховке и догматизм, которые сквозили во всех его высказываниях и делах, породили во мне трудно передаваемую словами антипатию. Она усугубилась, когда мне пришлось лечить его. В начале 70-х годов его доктор А. Григорьев пригласил меня и моего хорошего товарища, прекрасного врача, профессора В. Г. Попова на консультацию к Суслову. Он жаловался на то, что при ходьбе уже через 200–300 метров, особенно в холодную погоду, у него появляются боли в левой руке, иногда «где-то в горле», как он говорил. На ЭКГ были изменения, которые вместе с клинической картиной не оставляли сомнений, что в данном случае речь идет об атеросклерозе сосудов сердца и коронарной недостаточности.

Трудно сказать, в силу каких причин – то ли присущего ему скептицизма в отношении медицины, то ли из-за опасения, существовавшего в ту пору у многих руководителей, что больного и старого легче списать в пенсионеры, – но Суслов категорически отверг наш диагноз и отказался принимать лекарства. Переубедить его было невозможно. Он считал, что боли в руке у него возникают не в связи с болезнью сердца, а из-за «больных сухожилий руки». Затяжные приступы заканчивались мелкоочаговыми изменениями в сердце. Мы стали опасаться, что из-за его упрямства мы его потеряем.

В эти годы я познакомился с очень интересным американским фармакологом и бизнесменом Х. Бергером, фирма которого «Этиклиз» начала производить новое средство для расширения сосудов сердца – нитронг. Препарат, который мы завезли в нашу страну, завоевал популярность и начал широко использоваться. Симпатичный, интеллигентный Бергер меньше всего производил впечатление напористого бизнесмена и по своим принципам и складу характера был ближе к нам, врачам. У нас с ним сложились дружеские отношения, и как-то, воспользовавшись ими, я попросил его изучить вопрос о возможности производства нитронга в виде мази. Сейчас на фармацевтическом рынке много таких препаратов. Тогда же это было ново.

Через какой-то промежуток времени Х. Бергер сообщил мне, что препарат, который мы просили, – нитронг-мазь – удалось получить. Ни Бергер, создавая мазь, ни врачи, которые ее начали применять, не представляли, что моя просьба исходила из необходимости лечить Суслова. Мы решили обмануть его и, согласившись с его утверждением, что у него болит не сердце, а сухожилия и сустав руки, рекомендовать ему новую хорошую мазь, которую он должен втирать в больную руку.

Эффект превзошел наши ожидания. Боли в руке и за грудиной стали беспокоить Суслова значительно меньше. Довольный, он заявил нам: «Я же говорил, что болит не сердце, а рука. Стали применять мазь, и все прошло». Меня так и подмывало рассказать правду о препарате упрямцу Суслову, но сдерживала необходимость ради его здоровья и будущего приспосабливаться к его характеру и принципам. А нитронг-мазь, с нашей легкой руки, заняла в то время определенное место в лечении больных с коронарной недостаточностью.

Суслов с новым препаратом чувствовал себя вполне удовлетворительно и умер не от болезни сердца, а из-за инсульта. Случилось это в больнице, куда он лег на несколько дней для диспансеризации. Когда днем мы были у него, он чувствовал себя вполне удовлетворительно. Вечером у него внезапно возникло обширное кровоизлияние в мозг. Мы все, кто собрался у постели Суслова, понимали, что дни его сочтены, учитывая не только обширность поражения, но и область мозга, где произошло кровоизлияние. Так и оказалось. Через 3 дня Суслова не стало. Его смерть не могла не отразиться на жизни партии и страны. Суть даже не в том, что ушел человек, олицетворявший старые, консервативные методы партийного руководства и верность партийной догме. Его уход из жизни остро поставил вопрос – кто придет на его место, кто станет вторым человеком в партии, а значит, и в стране?

Уверен, что у Брежнева не было колебаний в назначении на этот пост Андропова. И не только потому, что он был обязан ему, начиная с XXV съезда партии, сохранением своего положения Генерального секретаря и лидера страны, но и в связи с тем, что, несмотря на снижение критического восприятия, он прекрасно представлял, что в Политбюро нет кандидатуры более достойной, чем Андропов. Черненко, может быть, был и не менее, а может быть, и более предан Брежневу, но он не шел ни в какое сравнение с Андроповым по масштабности мышления, общему развитию, аналитическим и дипломатическим возможностям. Однако не все в Политбюро думали так же, как Брежнев. Когда я как-то в феврале, через месяц после смерти Суслова, спросил Андропова, почему не решается официально вопрос о его назначении, он ответил: «А вы что думаете, меня с радостью ждут в ЦК? Кириленко мне однажды сказал – если ты придешь в ЦК, то ты, глядишь, всех нас разгонишь».

* * *

Смерть Суслова впервые обозначила противостояние групп Андропова и Черненко. Начался новый, не заметный для большинства, раунд борьбы за власть. Ее трагичность заключалась в том, что боролись два тяжелобольных руководителя, и началась она в последний год жизни дряхлого лидера страны.

Мне кажется, что Андропов готовился заранее к такой борьбе. Он вместе с Устиновым сделал многое для выдвижения Горбачева, которого считал близким ему человеком. В какой-то мере я почувствовал это на себе в период XXVI съезда партии. Накануне его проведения, во время нашей встречи, он мне сказал: «Вас предполагают выдвинуть в члены ЦК. Я уверен, что проблем не будет, потому что в партии и народе вас хорошо знают». Андропов понимал, что мой голос, голос человека, длительное время связанного с ним не просто работой, а дружескими отношениями и сложными перипетиями жизни, в том числе и личной, будет за него. Позднее он мне рассказал, что, когда зашел разговор с Брежневым о введении меня в состав ЦК, тот выразил удивление, сказав при этом: «Ну что за человек Евгений. Столько он для меня сделал, один из самых близких, а ни разу ничего не попросил». Я, может быть, и не поверил бы Андропову, но жизнь подтвердила и то, что Брежнев не знал даже состава предлагаемого ЦК, и то, что он искренне говорил обо мне.

На XXVI съезде меня избрали кандидатом в члены ЦК КПСС. В те времена это значило уже многое. Исповедуя принцип, что самое главное для человека в жизни – профессионализм, его позиция в избранной им отрасли знаний, я спокойно отнесся к этому событию. Тем более что никогда, несмотря на предложения, не собирался посвящать себя политической деятельности и добиваться политической карьеры. Каково же было мое удивление, когда вечером мне позвонил Брежнев и сказал: «Поздравляю тебя, ты это заслужил. Но я-то хотел, чтобы ты был членом ЦК. Это все Капитонов напутал. Но все равно ты будешь членом ЦК». Не знаю, по каким причинам Капитонов перенес мою фамилию из списка членов ЦК, имеющих право голоса, в список кандидатов, не обладающих таким правом. Не думаю, что он боялся появления в ЦК еще одного голоса в пользу Андропова, хотя он и знал отношение того к себе. (После избрания Андропова Генеральным секретарем Капитонов был отстранен от руководства важным разделом работы ЦК – подбором кадров – и на его место был назначен Е. К. Лигачев.)

После съезда мой знакомый В. П. Орлов рассказывал мне, что, случайно оказавшись в кулуарах съезда вместе с Брежневым, слышал, как тот выговаривал Капитонову, что он без

согласования с ним перевел меня из одного списка в другой.

В 1982 году на майском Пленуме ЦК, кстати, на котором наконец-то Андропов через 3 месяца после смерти Суслова был избран вторым секретарем ЦК, меня, как и говорил Брежнев, перевели из кандидатов в члены ЦК.

О ходе закулисной борьбы говорит не только факт довольно длительного отсутствия второго секретаря ЦК, но, например, и то, что Черненко добился назначения на важную ключевую должность председателя КГБ вместо ушедшего Андропова своего человека – В. В. Федорчука. Трудно сказать, как он апеллировал к Брежневу, но я точно знаю, что Андропов предлагал на свое место бывшего у него заместителем и тесно с ним связанного В. М. Чебрикова. Доказательством этого служит и тот факт, что буквально через несколько дней после прихода Андропова к власти Федорчук был переведен на место Щелокова, министра внутренних дел, которого Андропов просто ненавидел, а председателем КГБ стал Чебриков. Следует вспомнить и то, что через 10 дней после избрания Андропова Генеральным секретарем на пенсию был отправлен и Кириленко.

Приход Андропова в ЦК, на вторую позицию в партии, означал очень многое. Брежнев как бы определился с кандидатурой, которая в будущем могла бы его заменить. Сам он не думал оставлять своих позиций лидера и считал, что при верном и честном Андропове он может жить спокойно. Он еще создавал видимость активности, старался поддержать свое реноме руководителя социалистического лагеря.

По старой привычке летом 1982 года он еще принимал у себя на даче руководителей социалистических стран, и я даже удивлялся насыщенному календарю этих встреч: 30 июля он принимает Г. Гусака, 11 августа – Э. Хонеккера, 16 августа – В. Ярузельского, 20 августа – Ю. Цеденбала. Но эти встречи носят уже больше протокольный характер. Брежнев зачитывает заранее подготовленный текст, выслушивает своих собеседников, обедает с ними. У меня создавалось впечатление, что все понимали формальность этих обедов и встреч. Да и сам Брежнев говорил нам, что он тяготится этими встречами, но «так надо. Они же просят встретиться, отказать неудобно, да и нельзя, а то подумают, что я, действительно, тяжело болен».

Несмотря на свою дряхлость и наши опасения, он упрямо продолжал купаться не только в бассейне, но и в море, пытаясь доказать, как мне кажется, прежде всего себе, что он еще сохранил свою активность. Мы видели, как угасает Брежнев, и понимали, что трагедия может произойти в любое время. Исходя из этого, мы даже охрану обучили приемам реанимации, хотя и

понимали, что, если у Брежнева остановится сердце, восстановить его деятельность будет невозможно.

* * *

А тем временем продолжалась атака на Андропова. Кто-то из его противников, не знаю кто – Черненко или Тихонов, который понимал, что в случае, если Андропов станет во главе партии и государства, он вряд ли долго удержится в кресле Председателя Совета Министров, использовал самый веский аргумент – тяжелую болезнь Андропова. В последних числах октября 1982 года, после встречи с кем-то из них, мне позвонил Брежнев и сказал: «Евгений, почему ты мне ничего не говоришь о здоровье Андропова? Как у него дела? Мне сказали, что он тяжело болен и его дни сочтены. Ты понимаешь, что на него многое поставлено и я на него рассчитываю. Ты это учти. Надо, чтобы он работал».

Понимая, что альтернативы Андропову в руководстве партии и страны нет, я ответил, что не раз ставил в известность и его, и Политбюро о болезни Андропова. Она действительно тяжелая, но вот уже 15 лет ее удается стабилизировать применяемыми методами лечения, и его работоспособности за этот период могли бы позавидовать многие здоровые члены Политбюро. «Я все это знаю, – продолжал Брежнев. – Видел, как он в гостях у меня не пьет, почти ничего не ест, говорит, что может употреблять пищу только без соли. Согласен, что и работает он очень много и полезно. Это все так. Но учти, ты должен сделать все возможное для поддержания его здоровья и работоспособности. Понимаешь, вокруг его болезни идут разговоры, и мы не можем на них не реагировать».

Вслед за этим мне позвонил взволнованный Андропов и рассказал, что его пригласил к себе Брежнев и очень долго расспрашивал о состоянии здоровья, самочувствии, работоспособности и в заключение сказал, что обязательно поговорит с Евгением (он меня всегда так называл) и потребует сделать все возможное для сохранения его здоровья.

Андропов опасался, что Брежнев, выражая заботу о нем, постарается выяснить все подробности его болезни, ее тяжесть, перспективы. «Вы постарайтесь развеять сомнения Леонида Ильича, – попросил он. – Я уверен, что кто-то под видом заботы хочет представить меня тяжелобольным, инвалидом».

Я ждал повторного звонка Брежнева, но до праздников он не позвонил. 7 ноября, как всегда, Брежнев был на трибуне Мавзолея, вместе с членами Политбюро приветствовал военный

парад и демонстрацию. Чувствовал себя вполне удовлетворительно и даже сказал лечащему врачу, чтобы тот не волновался и хорошо отдыхал в праздничные дни.

* * *

10 ноября, после трех праздничных дней, я, как всегда, в 8 утра приехал на работу. Не успел я войти в кабинет, как раздался звонок правительственной связи, и я услышал срывающийся голос Володи Собаченкова из охраны Брежнева, дежурившего в этот день. «Евгений Иванович, Леониду Ильичу нужна срочно реанимация», – только и сказал он по телефону. Бросив на ходу секретарю, чтобы «скорая помощь» срочно выехала на дачу Брежнева, я вскочил в ожидавшую меня машину и под вой сирены, проскочив Кутузовский проспект и Минское шоссе, через 12 минут (раньше, чем приехала «скорая помощь») был на даче Брежнева в Заречье.

В спальне я застал Собаченкова, проводившего, как мы его учили, массаж сердца. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы увидеть, что Брежнев скончался уже несколько часов назад. Из рассказа Собаченкова я узнал, что жена Брежнева, которая страдала сахарным диабетом, встала в 8 часов утра, так как в это время медицинская сестра вводила ей инсулин. Брежнев лежал на боку, и, считая, что он спит, она вышла из спальни. Как только она вышла, к Брежневу пришел В. Собаченков, чтобы его разбудить и помочь одеться. Он-то и застал мертвого Брежнева. Вслед за мной приехали врачи «скорой помощи», которые начали проводить в полном объеме реанимационные мероприятия. Для меня было ясно, что все кончено, и эта активность носит больше формальный характер.

Две проблемы встали передо мной – как сказать о смерти Брежнева его жене, которая только 30 минут назад вышла из спальни, где несколько часов лежала рядом с умершим мужем, и второе – кого и как информировать о сложившейся ситуации. Я не исключал, что телефоны прослушиваются, и все, что я скажу, станет через несколько минут достоянием либо Федорчука, либо Щелокова.

Я прекрасно понимал, что прежде всего о случившемся надо информировать Андропова. Он должен, как второй человек в партии и государстве, взять в свои руки дальнейший ход событий. На работе его еще не было, он находился в пути. Я попросил его секретаря, чтобы Андропов срочно позвонил на дачу Брежнева. Буквально через несколько минут раздался звонок. Ничего не

объясняя, я попросил Андропова срочно приехать.

Тяжело было сообщать о смерти Брежнева его жене. Виктория Петровна мужественно перенесла известие о кончине мужа. Возможно, внутренне она была готова к такому исходу.

Появился взволнованный и растерянный Андропов, который сказал, что сразу после моего звонка догадался, что речь идет о смерти Брежнева. Он искренне переживал случившееся, почему-то суетился и вдруг стал просить, чтобы мы пригласили Черненко. Жена Брежнева резонно заметила, что Черненко ей мужа не вернет и ему нечего делать на даче. Я знал, что она считает Черненко одним из тех друзей, которые снабжали Брежнева успокаивающими средствами, прием которых был ему запрещен врачами. Может быть, это сыграло роль в тоне отрицательного ответа на предложение Андропова. Андропов попросил меня зайти вместе с ним в спальню, где лежал Брежнев, чтобы попрощаться с ним.

Медицинский персонал уже уехал, и в спальне никого не было. На кровати лежал мертвый лидер великой страны, 18 лет стоявший у руля правления. Спокойное, как будто во сне, лицо, лишь слегка одутловатое и покрытое бледно-синей маской смерти. Андропов вздрогнул и побледнел, когда увидел мертвого Брежнева. Мне трудно было догадаться, о чем он в этот момент думал – о том, что все мы смертны, какое бы положение ни занимали (а тем более он, тяжелобольной), или о том, что близок момент, о котором он всегда мечтал – встать во главе партии и государства. Он вдруг заспешил, пообещал Виктории Петровне поддержку и заботу, быстро попрощался с ней и уехал.

* * *

Андропов понимал, что в сложившейся ситуации во избежание каких-либо неожиданностей надо действовать быстро и энергично. О смерти Брежнева страна узнала во второй половине дня 10 ноября, а уже 12-го состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором Ю. В. Андропов был избран Генеральным секретарем.

Через 10 дней состоялось избрание в секретари ЦК КПСС Рыжкова, выдвижение на более важную позицию в Политбюро Горбачева, назначение Громыко первым заместителем Председателя СМ СССР. Все это должно было обозначить формирование в руководящих органах «группы Андропова». В нее, конечно же, входил и играл там важную роль его старый друг – министр обороны Устинов.

23 ноября сессия Верховного Совета СССР назначает

Андропова Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

© Левин М., перевод с нем., Львов В., перевод с англ., Дубинин Н., перевод с фр., 2012 © «Алгоритм», 2012